

ВРЕМЯ ИМБ 82 1985

В ПОМЕРЕ: НОВЫЙ РОМАН ЗИНИКА • ГЕРШЕЛЬ ИЗ ОСТРО-
ПОЛЯ • "АЛГЕБРА СОВЕСТИ", ИЛИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
СОВЕСТЬ • АМЕРИКАНСКИЕ СОВЕТОЛОГИ О МИХАИЛЕ



ГОРБАЧЕВЕ • КОНЕЦ ИГРЫ АРКАДИЯ ШЕВЧЕНКО • ВОЗ-
МОЖЕН ЛИ МИР МЕЖДУ АРАБАМИ И ЕВРЕЯМИ? • ФЕДОР
ШАЛЯПИН О ВРЕМЕНИ И СЕБЕ • ЖИВОПИСЬ ХОЛОКОСТА

ВРЕМЯ и МЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОБЛЕМ

Одиннадцатый год издания

**Выходит один раз
в два месяца**

82
1985

НЬЮ-ЙОРК — ИЕРУСАЛИМ — ПАРИЖ

ИЗДАТЕЛЬСТВО "ВРЕМЯ И МЫ" — 1985

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

ИЛЬЯ ГОЛЬДЕНФЕЛЬД	ИЛЬЯ СУСЛОВ
АРОН КАЦЕНЕЛИНБОЙГЕН	ДОРА ШТУРМАН (зам.гл.редактора)
АСЯ КУНИК (отв.секретарь)	ВЛАДИМИР ШЛЯПЕНТОХ
ИЛЬЯ ЛЕВКОВ	ЕФИМ ЭТКИНД
ЛЕВ НАВРОЗОВ	

Израильское отделение журнала "Время и мы"
Заведующая отделением Дора Штурман
Адрес отделения: Jerusalem, Talpiot mizrach, 422/6

Французское отделение журнала "Время и мы"
Заведующий отделением Ефим Эткинд
Адрес отделения: 31 Quartier Boieldieu, 92800
PUTEAUX, FRANCE

Представитель журнала
в Западном Берлине Juscwa Mischijew
Amsterdamerstr. 14
1000 Berlin 65

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Зиновий ЗИНИК

Руссофобка и фунгофил. 5

ПОЭЗИЯ

М.ГЕРШЕНЗОН

Гершель из Острополя. В переводе Льва Друскина. 70

Д.ЩЕДРОВИЦКИЙ

Ангел соответствий. 76

ПУБЛИЦИСТИКА. СОЦИОЛОГИЯ. КРИТИКА

Петр БОЛДЫРЕВ

"Совесьть алгебры", или интеллектуальная совесть. 88

Валерий ГОЛОВСКОЙ

Легенды о "красном Кеннеди". 104

Соломон ЦИРЮЛЬНИКОВ

Израильский тупик. 118

ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

Аркадий ШЕВЧЕНКО

Конец игры. 134

Федор ШАЛЯПИН

Разбитая Россия. 176

ВЕРНИСАЖ "ВРЕМЯ И МЫ"

Миссия и долг художника. 240

Коротко об авторах. 250



Зиновий ЗИНИК

РУССОФОБКА И ФУНГОФИЛ*

Роман

1. ИЗЖОГА

Брак с иностранкой и соответственно эмиграция в басурманские земли не проходят безнаказанно: его мутило и выворачивало наизнанку от изжоги. Поступки, которые варганил ненасытный рассудок, отвергались привередливым желудком. Желчь подымалась по пищеводу, напалмом сжигая все на своем пути, и едкая гарь пожарища в груди темнила очи. Все кругом показалось ему омерзительным: английская лужайка, выстриженная по-военному, ежиком; английская садовая мебель — эти пыточные по своему неудобству железные стулья и шатающийся столик, выкрашенные по-больничному белой краской; и панически выглядывающее из-за туч английское солнце, явно страдающее манией преследования; и, наконец, английские лица, белые и безглазые, как огромные поганки на зеленой до оскомины могильной траве, — их приятно скovyрнуть походя носком резинового сапога или сшибить прутом орешника.

Мнения, выражаемые авторами, не обязательно совпадают с мнением редакции.

* Для ревнителй орфографии: "Руссофобка" — от имени Руссо.
Copyright Зиновия Зиника
Роман публикуется с небольшими сокращениями.

Костя рыгнул, не потрудившись прикрыть рот ладошкой. И тут же перехватил осуждающий взгляд жены и хозяйки дома, Нуклии. То есть звали ее Клио, но в его раздраженном мозгу она проходила под кличкой "Нуклия", поскольку вот уже который год с ее языка не сходила "нуклия бомб", то есть ядерная бомба.

Нуклия была воинствующей пацифисткой. Но сейчас готова была прикончить своего русского мужа, стереть с лица земли ядерным взрывом третьей мировой войны, если бы только можно было ограничить конфликт территорией, оккупированной кишками ее рыгающего супруга. Вместе с этим ядерным ударом по супругу исчез бы, однако, с лица земли и плод ее многолетних усилий мирного времени — четырехкомнатный домик за спиной, четырехметровый задний дворик, на лужайке которого они и сидели. Конечно, дом был не ахти каких размеров, и, когда Костя отправлялся в туалет на втором этаже (Клио безуспешно настаивала на том, чтобы он называл уборную "туалетом", а не этим омерзительным псевдофранцузским словом "сортир"), дверь в гостиную внизу приходилось плотно прикрывать: он издавал чудовищные звуки во время естественных отправок, как будто в животе у него происходил ядерный взрыв. Да что тут говорить о продолжительных сессиях в местах уединенных размышлений, когда по ночам на супружеском ложе она просыпалась от бурчания у него в желудке. И неудивительно. Эти тонны освеженной баранины, говядины и свинины, эти итальянские, закрученные в бычьи кишки колбасы и всякие салями, эти почки и вымя, и гусиные шейки, и куриные пупки — перед глазами Клио вставали апокалиптические караваны обезглавленных коров, баранов со вспоротыми животами, птиц со свернутыми шеями, все они блеяли, мычали и ревели, и все эти звуки сливались в единое бурчание костиного желудка. Костя же сидел с руками, вымазанными в крови и рыгал.

"Выпей бикарбонат кальция", — сказала она по-английски, но Константин сделал вид, что не слышит. Или не понял: его скромные познания в английском проваливались бесследно куда-то в прямую кишку, когда она ему говорила что-то не-

удобоваримое для его интеллекта. Неудивительно, что Константин стал ужасно груб и непредсказуем. Главное, непредсказуем: он проигнорировал ее совет насчет бикарбоната кальция, и Клио пыталась угадать, какую выходку он предпримет, чтобы ублажить свой желудок в духе своих варварских наклонностей. В свое время он ведь настаивал, что во время крупных обедов надо следовать заветам французов и древних римлян, а именно: блевать после каждого третьего блюда для облегчения желудка и, следовательно, души, поскольку тело и душа едины. Слава Богу, на этот раз меню торжественного обеда, в честь первого визита Марги и Антони в новый дом, не превышало стандартных четырех блюд.

В качестве "стартера", то есть закусок, Клио подавала вареный артишок с чесночным майонезом. Но Костя заявил, что вареных овощей терпеть не может, забыв о своем московском пристрастии к вычитыванию французских кулинарных рецептов у Марселя Пруста, нафаршированного артишоками на каждой странице. Зато Константин уплеп самолично чуть ли не всю майонезную подливку, макая в нее хлеб. Хлеб пришлось подавать из-за него в гигантских количествах, так что практически не хватило на сыры в конце обеда — а за этими французскими батонами ей пришлось тащиться после работы в специальную булочную в Ковент Гардене, не говоря уже о тройной цене экспортных батонов. Константин же пожирал эту хрустящую экзотику, как будто это был обыкновенный английский хлеб в пластмассовом пакете из супермаркета. Он вообще ел хлеб не переставая, ничего не мог есть без хлеба — не выпускал лопот из рук, как будто у него этот кусок кто-то собирается отнять, и в результате одна рука у него всегда была занята, как раз та рука, которая предназначена для того, чтобы держать нож во время еды. Может быть, поэтому Константин не пользовался во время еды ножом. В результате ему приходилось отрывать зубами пищу прямо с вилки, и, чтобы не уронить поддетый на вилку кусок, он склонялся над тарелкой как будто в приступе рвоты.

Клио отворачивалась весь обед. И главное, есть же у него обоюдоострый нож, она точно знает, он держит нож для своих

особых целей, ей пока неведомых, явно не для еды. Клио передернула плечами. Неумеренное потребление хлеба она еще как-то может оправдать наследием российского прошлого Константина — многовековым голодом и мором. Но он отказался и от главного блюда, овощного рагу с морковкой, обваренной в кипятке цветной капустой и вареными помидорами. Сказал: "В Англии, вроде, нет на данный момент, эпидемии холеры, чего помидоры в кипятке вымачивать?" Тогда почему, спрашивается, он игнорировал приправу из сырого сельдерея, грецких орехов и моченого ячменя? И так весь обед. Причем знает же, с какой тщательностью она вымачивала ячмень, учитывая придирчивость в этих вопросах Марги и Антони.

"Все мы немножко лошади", — сострила по-русски по поводу ячменя Марга, блистая цитатами из русской поэзии. Откуда это? — лихорадочно вспоминала цитату Клио — из Ахматовой или Пастернака? Может быть, из Мандельштама? Состроив понимающую гримасу, Клио воспользовалась темой и повернула разговор на человеческое отношение к лошадям в связи со взрывом бомбы у королевского дворца, укошавшей, кроме лейб-гвардейцев, нескольких лошадей.

Клио сказала, что при всей ее любви к животным и ненависти к монархии и лейб-гвардейцам, она поражена дегуманизацией англичан. Газеты писали, что пожертвования на лечение раненых лошадей превысили пожертвования на лечение раненых гвардейцев, а какой-то богатый аристократ даже заказал похоронную карету и могильный памятник для одной из убитых кобыл. На что Антони сказал, что при всем его презрении к лошадиному эксцентризму аристократии, он полагает, что лошади, в отличие от людей, в данном инциденте — невинно пострадавшие; лейб-гвардейцы насильственно использовали их в милитаристских и реакционно-монархических целях, и в то время как о лейб-гвардейцах все равно позаботится правительство, лошади, как никогда, нуждаются в благотворительности. Но Марга сказала, что Антони лучше бы помолчал о своем гуманизме по отношению к животным — мало ему того, что он довел до сумасшествия их кота с русским

прозвищем Иван. Антони навесил на Ивана колокольчики, чтобы колокольчики своим звоном распугивали птичек и мышат — во имя гуманизма по отношению ко всему живому. Но, между прочим, когда эти самые мышки стали шастать по кухне у них в доме, Антони, ничтоже сумняшеся, купил мышьяк в аптеке и разом этих мышат перетравил. Это называется гуманизмом. А то, что из-за этого гуманизма и звенящих над ухом колокольчиков у кота Ивана начались истерики и галлюцинации, и его пришлось в конце концов усыпить и отдать на мыло, — на это Антони было начхать. Лишь бы его кот не съел бы мышку или птичку, чтобы не употребил в пищу мясо себе подобных. Короче, ему важно было, чтобы его кот остался бы, как он сам, вегетарианцем. Уклоняясь от назревающего семейного скандала, благоразумный Антони повернулся к Константину, напрягая свои познания в русском языке: "Буржуазная демократия эвентуально сделала мясо легким для покупки между миллионами масс. В доиндустриальные периоды мясо было аксессивно только между аристократами. В презентной же ситуации мясо, которое дешево для миллионов, сделало агрессивность массовой из-за переупотребления мяса и ведет к войнам популярного геноцида, и больше нет турниров только лишь для рыцарей из аристократии. — Антони перевел дыхание и добавил с жаром: — Но кто бенефитствует с этого? Индустриальная аристократия, как будет иначе? И в этом изнутри-наружу эссенция буржуазной демократии. Поставить вопрос, пожалуйста: аксессивно ли в России мясо для популяции?" — И Антони с задором спорщика зорко посмотрел на Костю. Тот даже не понял, что к нему обращаются с вопросом.

"Антони спрашивает: доступно ли мясо российским массам?" — не выдержала Клио идиотического молчания Константина.

"Российским массам все доступно", — соизволил наконец ответить Костя. И еще раз рыгнул.

"Но, позвольте, как же? — оживился Антони, переходя на английский. — Нам прекрасно известно, что в России перебои с мясом. И Клио подтвердит. Просто нечего жрать. Я, ко-

нечно, сочувствую трудовым массам, но с чем-то надо мириться в конце концов! Или разгул милитаризма, как здесь у нас, на Западе, или перебои с продуктами, как в России. Зато в России в результате население не развращено мясом и, следовательно, не агрессивно, кровь не играет милитаристскими инстинктами. Я предпочитаю пустой либерализм желудка фашистскому обжорству мозгов. Отсутствие мяса в магазинах — гарантия искренних намерений советского правительства в переговорах по ядерному разоружению. И этого не могут понять западные правительства, которые в своей слепоте, в своей слепоте..." — Мысль ускользала. Он никак не мог докончить фразу, потому что мысль ускользала с обрезком банана, который неумолимо съезжал с чайной ложки обратно в тягучий соус фруктового салата-ассорти.

"Мы тут недавно с Маргой перечитывали старика Олдоса Хаксли. Его пацифистскую книгу "Слепой в Газе", не читали? Это не про палестинцев, хотя Газа та же, географически, я имею в виду, — стал он разъяснять специально для этого мужлана Константина. — Название взято у Мильтона, из поэмы о Самсоне, знаете, библейском герое, который, знаете, лишился своих волос и, следовательно, силы, из-за слабости к женскому полу. В России ведь запрещена Библия, я поэтому так странно и объясняю, ведь запрещена, не так ли? И Милтон тоже?"

Но Константин смотрел куда-то мимо остекленевшим взглядом, как слепой, отравленный газом. Руки его машинально крошили хлеб, и движущиеся пальцы были единственным свидетельством того, что перед вами сидел человек, а не пугало. Птицы, однако, воспринимали его, как монумент, и налетали на крошки хищными стайками, ничуть не стеснясь. Впрочем, в этом городе все мы прирученные и выдрессированные, как школьники младших классов. Прямо под носом у Константина нагло расхаживало пернатое существо с красной грудкой и виляющим хвостом: трясогуска? или снегирь? — лениво размышлял Костя. Даже если это и трясогуска, ее русское наименование не соответствовало той птице, которая, перелетев в Россию, называлась бы трясогуской, а здесь называ-

ется черт знает как. Слова соответствовали предметам лишь в переводе этих предметов через границу.

"Милтон — по-русски значит милиционер, сокращенно", — сказал Костя вслух, но в принципе самому себе: убедиться, что еще не забыл родную речь. И отпустил пальцем хлебный катышек, метаясь в эту самую трясогузку, но попал в блюдце Антони.

"Вот как? Это ничего", — пробормотал, краснея Антони, стараясь незаметно выловить хлебный катышек из блюдца. Он перехватил неподвижный взгляд голубых до наглости глаз Константина. Станный русский: кто он? — варвар, тупой и непримиримый, один из тех, кто растопчет его, Антони, хрупкую римскую цивилизацию Запада своей конницей? Или же, наоборот, посланник нового Рима, советской империи, коварный и беззастенчивый, а Антони — античный грек, расслабленный мудростью веков и утонченной культурой, на пуховое ложе которой лезет в сапогах этот легионер из страны скифов? Так или иначе, в этом костистом славянине была сила, а в англичанине Антони была мудрость цивилизации, и этой мудростью он хотел бы оседлать скрытую необузданность новоявленного победителя или быть оседланным этой силой, напиться ею, слиться с ней в едином объятии, как мудрый грек с могучим римлянином, напоив его нектаром и смягчив его благовонными маслами, в античных банях с массажистами, винами и фруктами.

"Так вот, у Хаксли есть одно замечательное, знаете, высказывание, — снова обратился Антони к огрызку банана, сползающему с чайной ложки. — Альянс с ура-патриотизмом пока еще кажется слишком вульгарным для интеллекта наших либеральных мыслителей. — Антони снова запнулся. — Или нет, не так. Как же там, ну, Марга?" Марга не пришла на помощь. Потеряв, наконец, терпение и отбросив приличия, Антони выудил огрызок банана двумя пальцами, отправил его себе в рот и, причмокнув губами, заключил: "Чудный десерт! Короче, старик Хаксли прав: интеллект наших реакционеров все еще цепляется за демократию. Однако их желудок, их внутренности, то есть сущность, давно созрели для

фашизма: мясо, кровь, мясо кровь! Только без, пожалуйста, молока! — перехватил он чашку чая, над которой услужливо склонился молочник хозяйки дома. — Истинный вегетарианец, Клеопатра, не употребляет молока. Чем, скажите, молоко предпочтительнее яиц с невылупившимися цыплятами?!" — "Нечего повторять зады Олдоса Хаксли: вегетарианство, между прочим, сейчас на вооружении как у левых, так и у правых. Когда ты, наконец, научишься пользоваться салфеткой?" — процедила скептическая Марга, от взгляда которой не ускользнуло, как Антони пытается вытереть пальцы, вымазанные во фруктовом сиропе, о ножку стола.

Антони обиженно загремел ложечкой в чашке чая, размешивая несуществующий сахар. Эту вычитанную, по указке той же Марги, мысль о либерализме интеллекта при нарождающемся фашизме желудка Антони надеялся вставить в завтрашний спич на митинге протеста против размещения ядерных ракет на британской территории — и таким образом остроумно перейти к язвительной критике более общих агрессивных тенденций английского консервативного истеблишмента с традиционным воскресным кровавым ростбифом и рождественской индейкой. Но Марга своей недружелюбной иронией сбила его с толку. "Вегетарианские кишки правых" как-то не укладывались в логику его завтрашнего выступления.

"Дело не в левых и не в правых, не в Востоке и Западе, а в той агрессивности, с которой люди воспринимают каждую новую идею", — с обидой в голосе сказал Антони, обращаясь к Марге. Марга пожала плечами. Все она умела подать так, что всякий, кто с ней не согласен, выглядел недоумком. Могла бы, между прочим, поучиться вегетарианским рецептам у своей подруги Клеопатры. Как она чудесно замочила ячмень! И знает, между прочим, русский рецепт щей из крапивы. Говорят, прекрасно помогает от давления, особенно в нынешней международной обстановке. Вот это действительно истинное сотрудничество между Востоком и Западом: крапивные русские щи, американский ячмень, замоченный накануне. Но разве Маргу можно попросить о чем-либо подобном? Она кар-

тошку толком сварить не может, сплошные рестораны, невозможно расслабиться после целого дня с компьютерами.

Антони украдкой посмотрел на Клио: с выщипанными бровями, с белобрысой челкой и припухшей нижней губой — он как-то не замечал до этого ее щуплую фигурку младшеклассницы; их всегда разделяла или толпа общих друзей дома, или иерархия по службе на работе.

"Антони абсолютно прав, — набравшись духу, сказала Клио, уловив в словах Антони намек на гастрономические склонности своего супруга. — Мясо животных, фашистски зарубленных расистом человеческого племени, инфильтрирует мозговые извилины фашистскими инстинктами через кишки и провоцирует в мозгах бойню среди рода человеческого — мечь загубленных жертв животного мира палачу-человеку". Тут Константин рыгнул в третий раз. Клио заметила, как Марга и Антони снова переглянулись.

"Выпей бикарбонат кальция!" — сдерживая истерику, повторила Клио громким и четким голосом, на этот раз по-русски. Для верности.

"Это сода, что ли?" — переспросил лениво Костя и снова рыгнул, прикрыв на этот раз рот ладонкой.

"Экскюзато", — извинился он на языке, понятном исключительно ему одному. Он постоянно выдумывал псевдолатинские слова, маскируя свой недоразвитый английский. Экскюзато! Клио, не мигая, следила, как Константин, грузно поднявшись из-за стола, направился не на кухню за содой, а в дальний угол сада. Ее раздражала даже его походка, потерявшая московскую расторопность и рассчетливость в движениях. Может быть, он всю жизнь выглядел точно так же, как сейчас. Но только здесь стала явной некая отяжелевшая согбенность, бычий наклон шеи, слоновья поступь слегка подвыпившего человека. Казалось, он походя готов пнуть ногой с раздраженной неуклюжестью в разрисованного фаянсового гномика, сторожившего среди декоративных булыжников ее, Клио, ухоженную часть садика.

С чувством мимолетного самоутешения она оглядела хозяйским взглядом шелковистую гривку газона (ее зоркий

глаз отметил некоторую волнистость травяного покрова: значит, нужно пройтись еще раз газонокосилкой и злобно смести скрученные заплатки листьев каштана, занесенных ветром с соседнего участка) и с инвентарной придирчивостью проверила подборку флоры вокруг газона — от поседевших локонов кустистой лаванды до похоронной мужественности боярышника, уложенных согласно гамме колеров, как в корзинке цветочницы или праздничном торте. Ее садовничью гордость разделял фарфоровый гномик, как будто подмигивающий ей, Белоснежке. За гномика ее презирали опровергатели мещанского уюта: Клио отметила ироничную ухмылку Марги, когда они осматривали дом. Но тут она решила не уступать ни пяди законодателям общественных вкусов. Гномик был ее защитой и протестом против диктатуры ее прошлых увлечений — всем российским, маоистским, феминистским, всем, короче, агрессивным в человеке. Гномик верно сторожил пацифистский консерватизм ее души, эмигрировавшей из детских книжек в районной библиотеке, из подсмотренных в газетном киоске хрустящих иллюстраций в женских журналах о семейном уюте и из телепрограмм под Рождество. Заговор великих держав, наращивающих бицепсы в гонке вооружений, и снобизм Марги пытались отнять у нее этого гномика. Было время, и она надеялась, что гномика будет защищать Константин. Гномик будет охранять сад и дом, а Костя будет защищать гномика. И, казалось, сам станет гномиком, защитником маленького сада ее жизни. Но Константин грубо игнорировал эти садовые дизайны и сейчас видел перед собой лишь здоровенную березу в дальнем углу участка.

Этот "березовый уголок" был заросшей полянкой размером всего в два шага, но ощущался Нуклией, как гигантский прыщ на подбородке, как лишай, поразивший заразой-проказой куст роз. Короче, был бельмом на глазу. Во-первых, сама береза — ее, по идее, давно пора было бы срубить под корень и корень выкорчевать. Эта здоровенная и корявая дылда все равно полусохла и стояла с парализованной половиной, с почерневшими отростками мертвых сучьев, как после атомного взрыва; на другой половине дерева, полуживой и

обрякшей, висели бряцающим восточным украшением суховатые, всегда полуувядшие листочки. На месте выкорчеванной уродины можно было бы высадить стройный кипарис или даже пальму, чтобы доказать, что в Англии все может расти не хуже, чем в бывших британских колониях. Это было бы лишним доказательством ущербности ностальгии по колониальным временам. Но Костя цеплялся за эту березу, как утопающий за соломинку. И дело не в том, что она напоминала ему об оставленной родине. Не из-за ностальгических соображений предпочитал он ее пальме и кипарису. Да и какая может быть ностальгия по российским березам, если вот она — береза — стоит себе в Англии и не колышется, и стояла тут, между прочим, еще до появления письменности на Руси, а если и сохнет, то не по своим российским сестрам, а из-за старости, поскольку сроку этой березе не меньше, чем нашествию викингов, которые, прежде чем отправиться из варягов через Россию в греки, заплыли на острова Альбиона. Они-то и засадили, видимо, эту почву березами. Так втолковывал Константин, когда тонкие руки Клио особенно чесались по топору.

Константин цеплялся за эту березу по тем же соображениям, по каким грудью стоял за дикую траву и сорняки, прихотливо расположившиеся вокруг этого полумертвого дерева. "Березовый уголок" торчал среди аккуратно зализанной лужайки, как нелепый пук и вихор, оставленный на макушке модной прически небрежным парикмахером; лужайка в глазах Клио походила в результате на прическу панка ("панками" должны были презрительно называть польские паны, по словам Кости, бритоголовых запорожских казаков с чубом-оселедцем на голой макушке). Но выстричь этот отвратительный по нелепости вихор Костя не позволял — под угрозой развода и возвращения в Москву. Клио, хотя втайне была бы рада и тому и другому исходу, позволить себе такую душевную роскошь не могла, как не могла Великобритания, скажем, уступить атлантические острова аргентинской хунте: тут дело принципа, а не справедливости. Костя же отстаивал свой березовый режим в углу участка какими-то доводами про пчел, которым необходимы одуванчики и репей-

ники, а кому-то еще и лопухи, хотя Клио прекрасно разбиралась в садоводстве и знала точно, что в этих сорняках заводятся зловредные жучки, которые вместе с гусеницами из подорожника готовы в любой момент сожрать грозди гортензий, свисающих над фарфоровым гномиком — и тут даже страж садового благополучия не спасет.

Сейчас, чуть не сбив по дороге гномика, Константин рыскал вокруг березы, согнувшись вдвое, разгребая руками эти сорняки, как старьевщик над помойкой, что-то вынюхивал. Клио отвела взгляд от этой жалкой до оскорбительности фигуры мужа и встретилась с глазами Марги, глядевшей на нее с якобы сочувствующей, а на самом деле презрительной улыбкой. Марга отвела взгляд.

"Чудный садик, Клава, чудный!" — сказала она, как будто торопясь сменить тему разговора, точнее, обмена взглядами. Она всегда называла Клио московской кличкой "Клава", когда чувствовала замешательство перед подругой. Апелляция к Москве подразумевала наличие между ними некоего благославенного прошлого, некой интимной тайны и связи, фундамента неразрывной любви и дружбы на века, вопреки всем революциям во взглядах и занимаемых должностях в семье и обществе. Как будто не Клио, а Марга, никогда в жизни не державшая в руках ни одного садового инструмента, кроме лейки, только и делала что перекапывала грядки, перекладывала дерн, пересаживала саженцы и подрезала кусты каждую минуту свободного времени после восьмичасового рабочего дня в конторе у Антони. Это хорошо Марге быть супругой этого пацифиста и вегетарианца, зашибающего по двадцать тысяч в год на продаже компьютеров. Она, конечно, преклоняется перед его красноречием, она готова слушать Антони с утра до вечера, но каково быть у него и секретаршей, и машинисткой, и рассыльным с утра до вечера при зарплате триста в месяц, а половина уходит на отдачу ссуды за дом, холодильную установку, плиту и стиральную машину (конечно, можно было обойтись без стиральной машины, прачечная за углом, но она ненавидела в детстве вид своей матери, работавшей в прачечной, бредущей по пустынной улице с тюками

соседского белья). Легко рассуждать о могиле капитализма, сидя на балконе шикарной квартиры Антони в Кенсингтоне — с газоном и цветниками, которые стрижет и поливает смотритель, а у подъезда — портье в фуражке.

"Чудный домик, Клава, чудный!" — повторяла Марга, осматривая новое жилье, как будто это она, а не Клио отдирала старые обои, сверлила дырки в стенах и ползала под потолком с оконными занавесками в зубах. Целый год, копеечка к копеечке, досточка к полочке, креслице к столу, стол к кушетке обстраивала Клио свое семейное гнездо и наконец пригласила эту парочку снобов — для чего? Чтобы Марга брезгливо морщилась, ощупывая портьеры из подбитого ситца? Как будто она не видела, как Марга сдерживалась от насмешливого хохота, когда увидела, что камин в доме обклеен специальными обоями под кирпичную стену. Хорошо плевать на капитализм с балкона, но когда и задняя и передняя дверь дома — обе ведут в капиталистическую систему, и нет выхода и не вырваться из-под пишущей машинки даже в помощники менеджера из-за отсутствия сил и времени на курсы повышения квалификации? Нет, она горда тем, что преодолела пижонство и снобизм и пришла к положительным идеям: мир во всем мире, супруг в спальне, тост с яйцом на завтрак. Правда, Антони утверждает, что настоящий вегетарианец не ест яиц, но, по мнению Клио, это экстремизм. Впрочем, это был экстремизм искренний, без издевки, в отличие от лицемерия Марги с ее "чудно, Клава, чудно" под рыгания Кости, когда Клио готова была провалиться сквозь эту английскую лужайку и выпасть на другом конце света, снова в Москве, где, по крайней мере, рыгающий Константин не был бы мишенью для насмешек. Как он был обаятелен и загадочен в далекой России и как нелеп и неприятен здесь!

2. ПРОЛЕТАРСКОЕ ЧУДО

Конечно, если бы не Марга, она никогда не попала бы в эту проклятую Москву, которая вот уже который год захватни-

ческим сапогом топчет ее сердце. Она сразу, в тот первый новогодний вечер, поняла, что не приживется там, когда прямо из аэропорта, еле успев зарегистрироваться в гостинице, они вступили в квартиру московских друзей Марги, как будто вытолкнутые из темноты на ярко освещенную сцену.

Из распахнутой двери шибануло человеческим теплом, и в первое мгновение ей показалось, что она вернулась в собственное детство, когда под Рождество они ездили с родителями к родственникам в Шотландию. Там тоже была толпа и елка. Такая же елка, с мишурой и гирляндами, с раскрашенными стеклянными шарами и мандаринами в золотце. И запах мандариновых шкурок. Или апельсиновых? Только на вершине московской елки была водружена багровая пятиконечная звезда. А за окном волчьими желтыми глазами маячил городской массив с непроизносимо длинным названием, куда они тащились из гостиницы чуть ли не два часа с пересадкой в дребезжащем заиндевевшем трамвае — в район за Москвой-рекой, по мрачности превосходящий трущобы южного Лондона на том берегу Темзы, и, кроме того, неподалеку была расположена тюрьма, где, как утверждала Марга, наследники Сталина выбивают зубы защитникам прав человека не хуже наемников аргентинской хунты, хотя в это трудно было поверить. Клио, впрочем, была готова поверить во что угодно, направляясь от трамвайной остановки к мрачному кирпичному семиэтажному квартирному блоку, который сам по себе напоминал тюрьму на пустынной угрюмой улице без единого фонаря, где лишь луна была в спину лагерным прожектором, а цепкий пыточный мороз драл горло наждачной бумагой, и ветер хлестал по лицу жгутом. Под ногами хрустел не прославленный русский снег, а песок, которым был посыпан нарост обледеневшего асфальта, шуршал под ногами, как будто след доисторического животного, проволокшего хвост по тюремному коридору улицы.

В этом новом бравом мире ей снова не хватало места: тут тоже распоряжалась Марга. В комнате, комнатухе (или это была кухня?) с газовой плитой в углу, примостившись на кушетке, на стульях, присев на столе, друг у друга на голове,

чуть ли не свисая с потолка, задевая головой лампочку без абажура, перекрикивали друг друга и магнитофонную пленку с французским бардом сплошные иностранцы (русские то есть), и в этом бардаке звуков и лиц Клио сразу же почувствовала себя еще более неприкаянной, чем в пустынном лондонском пабе, где, чтобы заговорить с соседом по столику, надо или наступить ему как бы случайно на ногу или пролить пиво на пиджак, чтобы воспользовавшись извинениями, заговорить о погоде. А тут, казалось бы, у каждого душа нараспашку, только сказать нечего, и поэтому все лезли обниматься, и прежде всего с Маргой. "Марга, эй! Марга, где ты? Давай, старуха, выпьем!" И "старуха" Марга летала по комнате, куда ни погляди — везде Марга в обнимку с кем-нибудь пьет на брудершафт или просто так и все хохочет, и все хохочет, и скачет, как Айседора Дункан после знакомства с русским поэтом Есениным.

Такой, собственно, и представлялась Россия в первых рассказах Марги о Москве: с Есениным и Красной площадью в снегу, с иконами Рублева и подземными дворцами метро, с водкой, спутником, самоваром, идеальной работой общественного транспорта, с бесклассовым обществом и загадочными диссидентскими сходками, которые, хотя и лили воду на мельницу клеветнических измышлений разных "солженинских", порочащих картину беркласового рая по ту сторону железного занавеса, но зато возбуждали — по эту сторону занавеса — прежние надежды на перманентную революцию в духе британских троцкистов-кружковцев, на чьи заседания в свое время Марга таскала Клио.

Марга во всем всегда была первая, даже в смысле противозачаточных таблеток в школе, первая стала рассуждать о пейзаже Ван Гога у себя между ног после сигареты с марихуаной. Причем все она умела подать так, что каждый, кто не следовал ее очередному эпатажу, выглядел мелкобуржуазным недоумком и оппортунистом правого уклона. И всякий раз приходилось, преодолевая изначальное отвращение к очередной взбалмошной идее Марги, снова прыгать выше головы, цепляясь за новый виток всеобщего энтузиазма, и дока-

зывать всем вокруг, и прежде всего Марге, что и ты в едином левом строю с ней. И тут обнаруживалось, что Марга уже нечисто отвергла свои предыдущие лозунги и кредо и распространяет еще одну новую революционную заразу, подхваченную в очередной стране, про которую весь мир и думать забыл.

То есть упоминать Россию в своих разговорах Марга начала чуть ли не лет двадцать назад. Но тогда вообще ни один разговор не обходился без Маркса и Ленина. Что тут удивительного, если в разговоре возникала и страна Советов? Маркс, в конце концов, высиживал свой "Капитал" в библиотеке Британского музея, где эту пролетарскую библию впоследствии штудировал Ленин, скрываясь в Британском музее от царской охраны; и в то время как надгробный памятник Марксу заплывывали и исписывали заборными надписями в Лондоне, образ этого мученика прибавочной стоимости стал в Москве иконой для каждого простого труженика и партийного активиста. Связь между колыбелью марксизма-ленинизма в Лондоне и его возмужанием в Москве была очевидна. Это несомненно. Но связь эта вспоминалась лишь в качестве аргумента во время скандала, скажем, с хозяйкой квартиры, когда та повышала ренту за комнату в студенческие годы, и было ясно, что с этими старухами-процентщицами надо покончить раз и навсегда по системе Достоевского-Раскольникова, предвзвешенно, конечно, изучившего труды Маркса и Ленина. Все прекрасно знали, что в Советском Союзе у людей есть надежда в свете того, что в Англии ни у кого никакой надежды не осталось в свете реакционной системы привилегий для правящих классов. Но в общем-то всех бесили именно антиобщественные привилегии в свете британской реакции, а не надежда на братство и равенство в советском свете, где-то за тридевять земель. Короче, связь с Москвой была все эти годы, но, скорее, как сладкая мечта о "вседозволенности" для униженных и оскорбленных; связь эта не становилась географической, как, скажем, колониальная Индия для лондонского чиновника времен Британской империи, вычихивающего и выхаркивающего всю свою жизнь в вечном бронхите контор-

ской жизни лондонского Сити. Именно Марга превратила идеологический фантом, каким казалась Москва все эти годы, в географический пункт, в город, на расстоянии недолгого полета рейсом Аэрофлота.

Марга была первой, кто отправился с групповой турпоездкой в Москву, а потом все слушали ее отчет, разинув рты. От удивления не столько подробностями жизни на иной идеологической половине земного шара, сколько решительной переоценкой ценностей. Еще недавно Советский Союз проходил у Марги под кличкой "империалистического тигра", которого давно пора заклеить путем дадзы-бао с Валтасарового пира ой-вэй-бинов Мао. Но через пару лет, после нескольких поездок в Москву, Марга разочаровалась в китайском троцкизме и стала настаивать на родимых пятнах сталинизма, а не капитализма. В ее лексиконе замелькало новое слово "гулаг", которое Клио, естественно, путала с венгерским блюдом "гуляж", считая, что речь идет о Венгерском восстании пятьдесят шестого года, о котором еще несколько лет назад Марга говорила, как о типичной антисоветской диверсии ЦРУ. А тут вдруг выходило, что судьбы мира зависят от того, как органы КГБ поведут себя в отношении каких-то "солженинских и евтусенских", засевших в своих "сибирских рудах". Москва в разговорах Марги стала представляться некой бездонной бочкой, провалом в западной цивилизации, откуда валили упырями православные крестьяне, отъезжающие евреи и диссиденты, запряженные в тройку, которую хлестало возжами Политбюро, распеваящее Маркса под балалайку.

Марга все чаще стала твердить о свободе вероисповедания и праве на отъезд. Слушать это было анекдотично: об этом же твердили самые реакционные лондонские газеты, заглушающие протесты диссидентов Южной Америки и Северной Ирландии раздуванием шумихи вокруг инакомыслящих советских евреев. Да что тут реакционная пресса, когда сама Марга еще несколько лет назад на провокационный вопрос о свободном выезде советских граждан за границу, не моргнув глазом, ответила бы: "Страна Советов — не дом отдыха для миллионеров. Кто может позволить себе заграничные поезд-

ки? Интересно, сколько рядовых англичан могут себе позволить каникулы в Риме? Капитализм душит советскую экономику, и у простого советского человека просто нет денег на подобные экстравагантные путешествия!" И была права. Что же касается немногих избранных, регулярно появляющихся в разных столицах мира, Марга прошлых лет не находила в этом ничего несправедливого: "Государство субсидирует заграничные поездки тех своих граждан, кто не покладая рук трудится на благо социалистического общества. А беспартийные и антисоветские паразиты пусть сидят дома. Разве при капитализме буржуазная верхушка будет субсидировать заграничные поездки для членов компартии? или даже простых тружеников?" — И Марга победным смешком пресекала дальнейшие дискуссии на эту тему. В каких подвалах ее памяти исчезли эти разящие идеологического противника отповеди? Клио давно разгадала эти ревизии собственного прошлого, а сейчас она даже нашла бы в себе силы сопротивляться подобным ментальным революциям и ни за что бы не поддавалась "гулажной" затее Марги. Но тогда, разглядывая фотографии, которые Марга пачками привозила из каждой московской поездки, Клио чувствовала, как английская почва уходит из-под ног. Именно эти фотографии, как католические иконы, заморозили ее, приворожили к идеям Марги. Эти пустынные улицы без фальшивых реклам, с легкой азиатской витиеватостью зданий, где случайно попавшие в кадр пешеходы застыли с хмурым сосредоточенным выражением лиц, — чем бы ни объяснялась эта строгость лиц, она была свидетельством тяжелой и трагической поступи истории этой страны, и эта строгость печатью заверяла неповторимость судьбы русского народа. Но Клио еще больше замораживали фотографии московского застолья: эта смесь отчаяния и смеха в глазах, эти руки, сдвигающие салютом рюмки, и плечи, прижатые друг к другу, как будто перед великим расставанием или в предчувствии легендарной встречи — вопреки всему разлучающему и развенчивающему все идеалы на свете. Москва стала вырастать из этих фотографий, как навязчивый бред, повторяющийся в горячке простуды, легко узнаваемый и непод-

дающийся разгадке. И Клио поддалась уговорам Марги. Вместо запланированной недели в Тунисе по сниженным ценам она оказалась в новогодней Москве.

Московские фотографии наяву тут же утеряли для Клио свою сентиментальность. Происходящее в этом новогоднем бедламе напоминало, скорее, тунисский базар. Клио тут же оттеснили в сторону, облепив Маргу и вырывая у нее из рук, передавая друг другу какие-то сюрреалистские альбомы и блестящие кафкианские обложки — с экзальтированными взвизгами восторга. "Туземцы", промелькнуло в уме у Клио словечко из словаря ее прадеда-миссионера, прожившего всю жизнь в постоянных сборах в поход против язычества с чемоданом побрякушек. Эти же дикари не ползли на коленях за стеклянными бусами — они во весь рост, оголтело, бросались к Марге, целуя ее в щечку, и удалялись в угол со своей добычей. Марга навезла целый чемодан книжной макулатуры, скупленной на вес на распродажах и в магазинах букинистов на Чарринг-Косс.

Между двумя туземцами, рвавшими друг у друга одну книгу, вспыхнул непонятный Клио спор: кто лучше — Фолкнер или Хемингуэй? Она смутно помнила имена этих двух довоенных писателей, которыми зачитывалась ее бабушка. Если бы Клио заранее знала, как эти высоколобые недоросли, что и двух слов, кроме "гуд бай" и "о'кей", по-английски связать не могут, будут ломиться за печатным словом, она бы позаботилась и привезла в Москву для распространения настоящую литературу: скажем, феминистский роман "Гранатовые джунгли", конечно, лесбиянский эпатаж отчасти, но зато и бескомпромиссный репортаж о трудном детстве девочки из рабочей семьи, а не эта опостылевшая метафизика скучающих интеллектуалов, монстров прошлого века. Но Марга, хитрая бестия, ничего, конечно, не сказала насчет того, что в России "книга — лучший подарок", и в результате, когда оказалось, что Клио отправляется в чужой дом с пустыми руками, предложила провокационный выход из положения — приобрести бутылку джина в магазине инвалюты "Березка", где ее ободрали как липку.

Может быть, кутили вроде Марги и Антони могут разбрасываться в Москве этими экспортными бутылками направо и налево, но всем было известно в Лондоне, сколько работы на дому и дополнительных рабочих дней стоила Клио каждая десятка, копившаяся на этот экстравагантный московский вояж, и после похода в "Березку" не было никакой надежды приобрести гжель или хохлому, как ей посоветовали опытные люди из учреждения (компьютерщики, побывавшие много раз со знанием дела в Советском Союзе), не иконы, а именно гжель и хохлому, она все аккуратно записала перед отъездом. Не говоря уже о том, что ей самой и капли джина из этой бутылки не досталось, а ей, может быть, всех нужней и было, чтобы хоть через знакомый вкус вернуться душой в привычный мир и обрести уверенность в мире чужом.

Бутылку джина выхватили у нее прямо у двери, почему-то с криками: "Вермут! Вермут!" — и больше она ее не видела своими ослепшими от мороза глазами. Эти варвары хлестали джин стаканами — в чистом виде, без тоника. "Их будет всех тошнить", — пробормотала Клио ничего не слушавшей Марге, со смесью отвращения и мстительности глядя, как эти тунеядцы первой в мире страны социализма в минуту выхлестали количество спиртного, которого простой семье английских тружеников хватило бы на месяц "дринков" (размером в палец толщиной от донышка) каждый вечер перед ужином.

"Перестаньте, сволочи, жрать водку без закуски! — кричала хозяйка дома из другого конца квартиры. — Мяса, дураки, дождитесь. Костя придет. Мяса принесет". Из своего угла Клио разобрала только четыре слова: "водка", "закуска", "мясо" и еще это самое, что, как она подумала, означает "кости", которые в мясе. Кто бы мог подумать, что речь шла об имени ее будущего мужа?

Русский она учила по пластинкам уроков Би-би-си, целый год ложилась спать с опухшей от новых слов головой, а тут, кроме "водка" и "мясо", ничего не могла разобрать. Никто тут не договаривал до конца сложноподчиненных предложений, перескакивали с одного на другое какими-то полунамеками и хмыкали с небрежной скороговоркой между взрывами хохота.

Клио была поражена крайне дурной дикцией и неумением стройно выражать свои мысли. А Марга даже не потрудилась толком ее представить, вытолкнула ее к толпе, бросив: "А это Клио! Добро пожаловать!" (хотя по правилам нужно было сказать: "Прошу любить и жаловать", а "Добро пожаловать" отвечают хозяева) — и тут же улетела с кем-то обниматься. Клио надеялась, что, встретившись лицом к лицу с настоящими советскими гражданами, а не с гидами из интуриста, ей удастся обменяться печальным опытом репрессий и унижений по обе стороны железного занавеса вне зависимости от политических систем или образа жизни. Но она сразу почувствовала, что эта толпа ничего не желает знать и так же безразлично отворачивается от темных сторон жизни, как и белозубые лондонские молодчики из ночных клубов дистрикта Челси или обуржуазившаяся богема района Хамстид, рассуждающая о революции с бесстыдным хамством, игнорируя тот факт, что после восьмичасового стрекота пишущей машинки никакое да-дзы-бао в голове не уместится.

У этих московских типов была своя китайская грамота, с той же, практически, снобистской небрежностью выпускников частных школ, и, закрыв глаза от навалившейся вдруг усталости, она слышала ту же интонацию "ла-ди-да", речь сквозь зубы, как будто слива во рту, с презрением к человеку "вне нашего круга", настоящие реакционные франкмасоны в джинсах и свитерочках, тот же *vazhny, paradyu* тип.

Стоило в такой трескучий мороз заглядывать подобострастно в колючие глаза советских пограничников, чтобы попасть в ту же опостылевшую компанию снобов, без устали повторяющих как заведенные: Кафка и Фолкнер, Пруст и Хемингуэй — вместо того, чтобы вспомнить о своем собственном национальном наследии, о Толстоевском или даже Мельникове-Печерском, о котором так проникновенно говорил один белый эмигрант на лекции по русской литературе в Центре защиты этнических меньшинств во время фестиваля в ходе кампании против истребления тюленей.

Втиснутая в угол к подоконнику, Клио приникла пылающим лбом к заплывшему льдом стеклу, слезящемуся и соп-

ливому, как глаза и нос Клио от спертых и пропаренных батарей центрального отопления воздуха. Батареи палили, как мартеновская печь, поскольку, как объяснила Марго, отопление на душу населения централизовано государством, и поэтому каждый разбазаривал общенародное тепло как ему заблагорассудится, с той же безответственностью, с какой бюрократы наверху перевыполняли цифры плана по сжиганию нефти и угля и с какой набившиеся в эту парную гости дымили напропалую, игнорируя раковые заболевания, вонючими сигаретами, шибаящими в нос навозом с соломой, закупленными советским правительством по дешевке у болгарских товарищей.

После дикого варварского мороза натопленная, как сауна, квартира, где вместо пара витали клубы едкого дыма, тут же вышибла из Клио потоки слез и соплей. Через минуту платок превратился в мокрую половую тряпку, а до бумажных салфеток эти ценители буржуазных свобод не доросли. Охлаждая пылающий лоб заиндевелым оконным стеклом, Клио впервые, может быть, в жизни вспомнила холодный родительский дом, где гуляли сквозняки и где газовый камин разжигался ради экономии только, когда отец приходил с работы, и днем тепло приходилось искать в публичной библиотеке — единственном, кроме пивной, теплом помещении на целый квартал, что, впрочем, поощряло любовь к чтению. Слезы текли по покрасневшимся щекам Клио, и со стороны могло показаться, что это слезы зависти. Она стала пробираться к выходу, к двери, к лестничной площадке, откуда в квартиру тянуло блаженным холодком.

На лестничной площадке, где анфилада грязных бетонных лестниц разворачивалась вокруг тюремной решетки лифта, воняло кошками и мочей, но все равно дышать было легче. Из этого колодезного провала лестничной площадки тянуло всеми запахами на свете, из-за дверей пробивалась ворожба новогоднего веселья, как будто приглушенная, притушенная мерцанием подслеповатой лампочки под заплывшим грязью плафоном. Ее рука искала опору, наткнулась на подоконник и тут же отдернулась: пальцы были испачканы в чем-то лип-

ком, "кровь", подумала она; ладонь натолкнулась на нечто круглое, и с шуршанием с подоконника скатилась и разлетелась вдребезги пустая бутылка. "Портвейн", прочла она кириллицу наклейки, сдвигая ногой осколки в одну кучу. Псевдоанглийское название на бутылке, точнее, на расколотых остатках чужого веселья, напомнило ей, откуда и как она сюда попала. В этой грязной и темной утробе чужого дома в чужой стране было такое окончательное убожество и одиночество, что сделала бы она тогда еще одно умственное усилие, еще один шаг до самопризнания в окончательном поражении на этом свете, она, может быть, уже тогда освободилась бы от назойливой дребедени чужих слов и лозунгов и стала бы жить сама по себе, без оглядки. Без Марги. Без России.

Но в этот момент снизу, с нижних этажей, что-то залязгало, заурчало, зажужжало и стало подыматься, сначала, как крошечный светлячок из бездонного оврага, а потом, вырастая в гигантского светящегося мотылька, и, наконец, отбрасывая гигантские скрещенные тени от решеток проволоочной клетки, как инопланетный аппарат, на этаже застыл, звякнув лебедками, тяжелый лифт сталинских, видно, времен. Столкнувшись с Клио нос к носу, чертыхаясь, из клетки лифта вылезло существо в замызганном драповом пальто и заячьей шапке-ушанке. В руках человек держал, как ребенка, гигантский куль из газет. Самодельный пакет топорщился, а в одном месте совсем прорвался, и из дырки выглядывала непристойно обмороженная кость с алым, подернутым инеем обрезком мяса. "Как будто он кого-то зарубил на улице" — отшатнулась от собственной нелепой мысли Клио и тут же с нервной вежливостью, по-английски, поправила себя, напрягая память, чтобы составить нечто вроде светской фразы, нечто вроде улыбки, которой обмениваются в Англии незнакомые люди, оказавшиеся в лифте: вежливая улыбка, как знак миролюбивых намерений, точнее, безразличия — что, мол, не собираюсь приставлять тебе нож к горлу, езжай себе на свой этаж, а я выйду на своем этаже, гуд бай, все о'кей.

"Я знаю, — сказала Клио, — вы, видимо, кости. Тут говорили".

"Костя, — поправил ее Костя. — Не кости, а Костя. Кто говорил?"

Клио неопределенно махнула рукой в сторону полуприкрытой двери квартиры. "Костиа?" — старательно поправилась она, но так и осталась в полной уверенности, что у него такое прозвище — "кости", поскольку он у этой компании мясником, а "костиа" — это просто особое московское произношение слова "кости".

"А я — англичанка", — сказала Клио.

"Уважаю Англию, — сказал Костя. — Все виды мяса к нам из Англии пришли: ростбиф, бифштекс, ромштекс, — и добавил, встряхнув газетным кулем: — А я вот бифштексов принес, с костями, правда. Будем есть", — и прищелкнул зубами для пущей ясности. Каждое его слово звучало четко и с расстановкой: "Костиа" явно желал быть понятым и хотел понять, в отличие от безразличной скороговорки снобов за дверью. Но дверь распахнулась, прихлопнув сквознячок взаимопонимания на лестничной площадке, и их короткий разговор был перекрыт людоедскими криками: "Мясо! Мясо!" Костистая фигура Кости исчезла в коридоре за толкучкой спин, чтобы возникнуть, возвышаясь гигантом, у плиты. Прижатая в тот же угол, Клио тем не менее уже не обращала внимания на плящущий бедлам гримас; она глаз не могла оторвать от могучих плеч Кости, от жилистых локтей в броне подвернутых рукавов ковбойки, от напряженной шеи, склонившейся над кусками мяса. Каждый мускул его большой спины участвовал в мистической процедуре. Над распластанными кусками мяса летала пустая бутылка, сменявшаяся острым ножом, наносящим сеточку надрезов по расплющенной говядине.

"Ромштекс, наверно? Или все-таки бифштекс?" — неожиданно для себя пыталась угадать цель этих загадочных пассов Клио. И сама удивлялась, с какой готовностью и чуть ли не решимостью пытается проникнуть во внутренний мир этого неказистого увальня, в мир загадочной русской души.

Как ни увивались вокруг него все присутствующие, Клио удалось-таки пробиться вплотную к кухонной плите.

"Сухарики!" — с хирургической невозмутимостью отчека-

нивал Костя и тут же один из присутствующих бросался то-лочь сухари для панировки. "Луковица", — бормотал себе под нос Костя, но уже кто-то, как будто разгадав царскую волю, склонялся в три погибели, отыскивая в ящике с картошкой луковичную головку. С какой божественной ловкостью, как будто у него не две пары рук, а десять, управлялся Константин одновременно с раскаленной сковородкой и перочницей, и масленкой, присыпал куски мяса мукой и воровил над шипящим луком кухонным ножом. Всем своим видом — сочетанием магической лихости и невозмутимости — Костя как будто доказывал ей, Клио, иностранке, что и в этой стране есть чего похреть, есть и в этой стране мясо, вопреки утверждениям лондонских советологов; только для этого надо за-получить в друзья Костю, надо быть Костей, а не черт знает каким диссидентским и высоколобым хмырем. И как благосклонно, без ложного презрения игнорировал Костя советы этих неучей, с какой благожелательной улыбкой склонял свой рыжеватый чуб и как иронически морщил свой курносый нос картошкой и на костистых скулах начинали играть ямочки. Даже его клетчатая рубашка с выпирающими лопатками и острой ключицей из-под смятого воротничка, казалась ей уже родной — эта советская ковбойка делала его похожим то ли на техасского ковбоя, то ли на шотландского фермера, — короче, от него веяло здоровой бедностью, чем-то земным, натуральным, без интеллигентских ужимок и финтифлюшек толпы безродных снобов. В нем было, одним словом, нечто пролетарское. И Клио поймала себя на том, что страшно злится, когда толпа болельщиков кулинарного искусства Кости загромождала от нее его лицо вполоборота к ней.

* * *

Апогей наступил, когда неожиданно для всех Костя подхватил полотенцем раскаленную сковороду и понес ее, не юля и не сворачивая, не глядя по сторонам, через всю квартиру, к праздничному столу, заставленному пересоленными салатами, блюдом с селедкой, глазеющей на всех присутствующих кружками лука, едкой редькой — и все налезало друг на дру-

га, уже полусъеденное, расхвачанное в нетерпении до срока. Все эти блюда были сметены в сторону, расступились, давая дорогу гигантской сквороде с мясом, как расступалась и толпа гостей, давая проход победно шествующему Константи-ну, толкаясь за его спиной, спеша занять места. Уже нацелились вилки, и вдруг с разных концов этого застолья послышались сначала негромкие споры, а потом задорная, во весь голос, яростная перепалка, в ходе которой собравшиеся тыкали друг другу в нос часами, пока, наконец, кто-то не догадался включить радио. И вместе с грохотавшим из него нечленораздельным рыком "С новым годом, татарщи!" поднялась суматоха: руки тянулись к бутылкам, водка проливалась на скатерть, звенели стаканы: "До гимна прощаемся со старым!" Успели чокнуться и тут же снова налить, когда грянул гимн Советского Союза, и все, встав, снова соединили рюмки над раскаленной сковородой с костинными "штексами". "А ну-ка! — успела тяпнуть по чьей-то нахальной вилке хозяйка дома, и тарелки с мясом закружили в нетерпеливой очередности вокруг стола. Но возгласов урчащего восхищения под треск челюстей и звон наполнявшихся рюмок хватило не надолго. Быстро насытившись, уже заводили в углу проигрыватель, уже кидались друг в друга апельсинowymi корочками, уже кто-то гасил окурки в недоеденное мясо, а кто-то заслоненный танцующими парами, обнимался на кушетке.

Клио снова оказалась зажатой в угол на краю стола, перед тарелкой с обглоданной кем-то костью и опрыскивала эту кость вновь подступившим чихом и насморком в чаду и дыму квартиры.

"Девочка плачет", — вдруг потянул ее за локоть сосед и стал тыкать пальцем в крутящуюся катушку на допотопном магнитофоне. Оттуда доносился гортанный и томительный баритон, распеваящий на двух нотах нечто восточное, похожее на повторы засыпающего муэдзина. "По-русски понимаете? Барды, менестрели, не официально, понимаете? — перекрывал шум в комнате и магнитофонный ящик этот непрошенный гид. — Я вам объясню, слушайте сюда. Значит так, девочка, герл, понимаете? Она плачет. А шарик, значит, ле-

тит, ясно? Тут имеется в виду воздушный шарик, надувной балон, вроде дирижабля, но маленький такой, для детей. Но в то же время это и наша планета, понимаете, как надувной шарик. А следующий куплет с девушкой. Девушка плачет. Девушка — это девочка, но взрослая, и она тоже плачет. Жениха все нет. Тут слово "все" надо понимать как "пока". Пока еще нет жениха. И, видно, никогда не будет, понимаете? Ее утешают". — Тут Клио почувствовала, как рука этого переводчика муэдзина из магнитофона стала подбираться к ее колену. Она перехватила чей-то скабресный взгляд. Или это была Марга, нахально подмигивающая из дальнего угла? "Дальше утешают женщину. У нее муж ушел к другой. А шарик, понимаете? Летит! У вас есть связь с дипломатической почтой?" Клио напряженно молчала, полагая, что это не вопрос, а часть перевода. "У меня с собой тетрадошка нашей поэтической группы, хочу вам почитать, — сказал переводчик и достал тетрадошку. — Да нет, это не магнитофонные слова", — поспешил добавить он, заметив, что Клио все еще не отвела глаз от крутящихся катушек. Он повернул выключатель ящика и таким образом снова включил горланящие голоса в комнате. Но ненадолго, потому что, пошебуршив тетрадошкой, он сам как будто повернул рычажок репродуктора у себя в горле, и Клио буквально вжало в стену раскатами его завываний.

Русские вообще все произносят нараспев. В этом она убедилась еще в Лондоне, когда Марга затащила ее на вечер эмигрантского поэта, который голосом, напоминающим протяжный звон вестминстерского Биг Бена, сообщил собравшимся, что в Лондоне всюду идут часы. Это было весьма сомнительное утверждение. Хотя часы и висят повсюду в Лондоне, но далеко не все эти часы идут. Кроме того, пропел по бигбеновски поэт: "город Лондон прекрасен". С этим Клио никак не могла согласиться. Может быть, переводчик чего-нибудь недопонял или оглох — уж очень громко распевал со сцены этот русский бард. "Чего он так кричит?" — тоскливо думала Клио, дожидаясь перевода. Но Марга сказала, что подобная манера чтения стихов связана с традицией церковного пения в православной религии и религиозной ролью поэ-

зии в русской истории. Может быть. С Маргой трудно было спорить. Но город Лондон был ужасен. Москва, как выяснялось, была не лучше. Клио не понимала ни слова. "Нравится? — то и дело прерывал себя московский чтец и снова включал громкоговоритель у себя в горле. — Сможете переправить? — откричавшись вдоволь и отдышавшись, обратился он к Клио. — Переправить сможете? Я имею в виду перевезти через границу, экспортировать, с Востока на Запад, дипломатической, конечно, контрабандой?"

Когда до Клио дошел смысл его просьбы, щеки ее запылали: не столько от спертости, как в турецкой бане, воздуха, сколько от возмущения. От возмущения она даже перешла на английский. За кого этот поэт ее принимает? Как бы скептически она ни относилась к советской истории (жертвы которой, кстати, ничуть не ужасней жертв истории американской с ее геноцидом индейцев, или британской с ее расстрелом революционных сипаев), она не позволит себе нарушать законы страны, где в данный момент она лишь гость. Не говоря уже о том, что она, Клио, никогда не пойдет в британское посольство к этим высокомерным бюрократам, к этим важным и парадным чиновникам с поджатыми под аристократов губами и непроницаемыми лицами. Да и кто ее допустит к мешку с диппочтой? И неужели непонятно, что Клио будет первой, кого будут обыскивать на обратном пути пограничники и таможня,— какая наглость и провокация толкать ее, незащищенное в политических интригах существо, на подобную безответственную акцию, направленную, в конечном счете, на подрыв завоеваний социализма, пусть и искаженного культа личности, но все же идеала всех трудящихся земного шара в то время, когда миллионы британских безработных простаивают в очереди за жалким пособием. И неужели он, либеральный советский интеллигент ("уберите, пожалуйста, руку с моего колена!"), настолько наивен, что не понимает "в какие жернова он подсыпает песку" своими сочинениями? Надо бороться за публикацию своих сочинений у себя на родине, а не передавать тайком пророчества о своей многострадальной стране в циничные руки, вроде агентов ЦРУ, которые,

как известно, распространяют и финансируют русскоязычные публикации на Западе как козырь в кровавой игре разведок в ходе глобального конфликта супердержав, а вовсе не ради спасения русской литературы. Пусть примером ему послужит судьба таких русских поэтов, как Ахматова, Пастернак и расстрелянный Мандельштам, а не те раздобревшие на иностранной валюте диссиденты, о страданиях которых нам на Западе все уши прожужжали, а потом они появляются из-за железного занавеса в мехах и бриллиантах и начинают чернить свою родину!

Всего этого Клио не решилась сказать, но кое-что все-таки сказала, злясь на саму себя за то, что повторяет изречения Марги десятилетней давности. И кое-что, хотя и не все, дошло до ее собеседника, лицо которого все больше и больше искажалось брезгливой гримасой раздражения, пока, наконец, он не вскинул голову и не заорал на всю комнату: "Коминтерновская мандавошка! Кто привел сюда эту коминтерновскую мандавошку?!"

От его визга, в котором и следа не осталось от православной литургии, по затихшему помещению пробежал шепоток, и на Клио уставились вдруг отрезвевшие глаза присутствующих. Клио стало страшно — ей казалось, что ее сейчас ударят. Она понимала, что ее слова могли серьезно задеть этого чтеца непонятных стихов. Даже оскорбить. Она вовсе не была уверена в справедливости собственных слов. Более того, ей противно было вспоминать всю эту демагогию про колыбель революции и заговор империалистических разведок. Она наговорила всю эту идеологическую белиберду просто потому, что надо было что-то сказать вопреки: избавиться от вязкости поэтического взгляда, вязкости его голоса в ушах, от руки у нее на колене. Дело было вовсе не в ее отношении к русской поэзии — она просто чувствовала, что ее хотят использовать. И она стала защищаться. Теми словами, что были в данный момент в ее распоряжении. Неужели из-за слов, пускай обидных, надо этак тяжело смотреть? С такой коллективной ненавистью в глазах? И тут до Клио дошло, что так именно и проходят партийные собрания, пресловутые митинги с обязатель-

ной явкой. До нее дошло, что она среди советских людей. Что это и есть советская власть. И ей стало тошно и страшно.

Она искала глазами Маргу. Пора было уходить. Уходить, пока есть куда уйти. Но Марга, видимо, крутилась где-то в коридоре. Или в ванной. Клио заметила, что Марга то и дело запирается в ванной, откуда выходила порозовевшая и помолодевшая непонятно отчего, и всегда вслед за ней выходил, понуря взгляд, ее очередной "старый приятель" по московским визитам. "Сексуальная невожатанность обратная сторона агрессивности капиталистического общества" — вспомнила Клио один из афоризмов Антони и засморкалась в платок, избегая враждебных, уставившихся на нее глаз. Они были из социалистического мира, эти глаза, но все равно агрессивные. Кроме того, она не поняла, что значит "коминтерновская мандавошка". Прижимая к носу платок, как будто ее уже ударили, она уставилась в противоположный угол невидящим взглядом раскрасневшихся от слез глаз. Пока, наконец, до нее не дошло, что угол, в который она уставилась, вовсе не пустующий: моргая рыжими ресницами, на нее, не отрываясь, глядел Костя.

Она на всю жизнь запомнила, как медленно поднялся, стряхнув с колен крошки, этот судия российского желудка и направился через всю комнату к той стене, в которую вжималась Клио. Он надвигался на нее той походочкой, которую русский писатель и враг славянофильства Тургенев описал, как "щепливую походочку нашего Алквиада, Чурило Пенковича, что производила такое изумительное, почти медицинское действие в старых бабах и молодых девках и которою до нынешнего дня так неподражаемо семянят наши по всем суставам развинченные половые". И она, глядя на это пролетарское чудо, не могла понять, ослабело ли у нее под коленками от страха перед надвигающимся на нее экзекутором, который превратит ее, "коминтерновскую мандавошку", в бифштекс, ромштекс или ростбиф в качестве следующего общего блюда для этой галдящей шоблы; или же вовсе не от этого ослабело у нее под коленками, и вовсе не под коленками, а блаженная тяжесть стала ползти от груди к низу живота, и она

вдруг решила: даже если он сейчас и съездит ей по физиономии (а ведь это известно, что в России, как и в Ирландии, все мужья бьют своих жен, так, по крайней мере, было до революции, хотя она, впрочем, не его жена, а он не муж революции, впрочем, все так запутано и сложно в России!), Косте она простила бы даже этот жест мужского пороссячьего шовинизма в отношении слабого пола, именно потому что никогда бы не снесла подобного от своего соотечественника. Дело не в оплеухе, а кто ее наносит, суть не в средствах, а в цели — вопреки позиции буржуазных либералов; а цель предстоящей оплеухи (она это чувствовала и грудью и животом, и коленками) — не в демагогии и стихоплетстве, а в физическом контакте между Востоком и Западом, несмотря на происки реакционных сил врагов детанта по обе стороны железного занавеса. И занавес пал. Удара не последовало. Пододвинув стул вплотную к ней и усевшись на него верхом. Костя заглянул в лицо Клио своими глазами, вымытыми российской историей. Клио от смущения снова отчаянно засморкалась в платок.

"Простуда?" — спросил участливо Костя, и Клио ощутила его широкую ладонь у себя на плече. Она согласно, не глядя, кивнула головой. Не было у нее слов вдаваться в объяснения насчет аллергии на вонючий табачный дым, раскопчегаренный центральным отоплением. "А вот мы сейчас", — похлопал ее Костя доверительно по плечу, как доктор в обращении с больным ребенком.

Скосив взгляд из-под носового платка, Клио наблюдала, как по-деловому дотянулся Костя до бутылки водки на краю стола и, опять же по-докторски покопавшись в карманах, достал небольшой самодельный пакетик; по-медицински отмерив полстакана водки, он выпустил туда, как порцию растворимого аспирина, некий бордовый порошок из пакетика, размешал все это чайной ложкой, подобранной с чужой тарелки из-под торта, и, пододвинув стакан к краю стола, приказал: "А ну-ка, залпом!" Зачарованная этими четко рассчитанными пассажами, как военными маневрами супердержав, Клио, не проронив ни слова, поднесла стакан к губам. Запах сивухи шибанул в нос, в голове помутилось и дрожащей рукой она возвратила стакан на место.

"Главное, не отчаиваться, — подбадривал иностранку Костя. — Значит так: сначала глубокий выдох, затем залпом опрокидываете, глоток, и пока вовнутрь не пройдет, не вдыхайте ни в коем разе — сразу огурчиком ее, огурчиком", — убеждал ее Костя с разбухшим соленым огурцом в одной руке наготове и стаканом в другой, пантомимически демонстрируя Клио всю процедуру заглатывания водки. "А потом дышите, сколько влезет", — повторил он и сунул ей в руку стакан. Под гипнозом этой пантомимы Клио зажмурилась и опрокинула стакан в горло, все перепутав, и вдох и выдох; водка полилась по губам, по подбородку, глаза ее полезли на лоб и, разинув рот, как рыба, выброшенная на берег, она закашлялась в спазматическом припадке, который был приостановлен железной рукой Константина, принявшего колотить ее по спине. "Что это? — бормотала она по-английски и даже по-французски, — ке-с-ке-се?" (Французский был для нее инстинктивно языком для иностранцев.)

"Перец это, — разяснял Костя. — Кайенский перец с водкой, вернейшее средство от простудного симптома. После картошки, конечно". Все еще задыхаясь, как выбежавшая из горящего дома, Клио повторила за Костей незнакомое слово "картошка" обожженными от перца губами: "Артишоки?" Но Костя вдумчиво и обстоятельно разяснил, что с артишоками он знаком лишь по роману Марселя Пруста "По ту сторону Свана", а вот по эту сторону железного занавеса берешь картошку, чистишь ее и, доведя эту картошку в кастрюле с кипятком до практически полной разварки, набрасываешь на голову полотенце, по-арабски склоняешься над кастрюлей и, отделив таким образом свои дыхательные пути вместе с картошкой от окружающего мира, вдыхаешь исключительно картофельные пары до полного выздоровления. Все это Костя объяснял, набросив на голову нечистое кухонное полотенце, используя в качестве символа кастрюли миску с недоеденным салатом.

"Но в сложившейся обстановке перец — оперативнее", — сказал он и махнул в сторону базара голов, толкущихся по набитой до отказа квартирке. Может быть, полотенце это бы-

ло волшебное, или же начинала ухать ярмарочным оркестром водка в ушах, но колготня голосов как будто удалилась вместе с враждебными лицами гостей на безопасное расстояние, и все больше вырастал в ее глазах кудесник Костя. "И сразу по второй, пока искры в животе, как учил нас большой русский писатель Чехов", — говорил Константин, пододвигая ей вновь наполненный целебной алхимией стакан. И Клио, уже забыв про сопливый платок и не отрывая прояснившихся глаз от Кости, опрокинула стакан в рот, гипнотически следуя профессиональным инструкциям: выдох, залп, пауза, огурец, вдох — и даже не закашлялась.

"Так лечится русский народ?" — оживленно спросила она.

"И еще как! — кивнул головой Костя. — Наивно, однако, воображать, что рецепты эти — исконно русские, а тем более народные. Я уверен, что подобные лечебные составы можно отыскать в монашеских трактатах по средневековой алхимии. Перец-то попал в Россию из Византии, — рассуждал Костя, подсаживаясь поближе к Клио. — Как и свет христианства на Руси. Впрочем, насчет перца надо еще уточнить, но не в сибирских же болотах его выращивали, явно южный овощ. Никто, однако, не станет спорить, что картошка пришла из Америки". Клио согласилась и подтвердила, что и в Европу картофель прибыл оттуда же, из Америки, открытой Колумбом.

"Но Колумб был европейцем, — настаивал на своем Костя, — и картошка, следовательно, попала в Россию благодаря Европе, как и все, впрочем, что есть положительного в русской кулинарии".

"Колумб не был европейцем, — проснулись в подвыпившей Клио патриотические чувства. Как всякая англичанка, она отделяла европейский континент от британских островов. — Колумб был подданным английской короны!"

Все это время их разговор шел на смеси английского с нижегородским, а Костя даже по-русски слабо понимал нюансы географии за железным занавесом: Запад для него был един, а в кулинарии он был решительным западником.

"Возьмем, скажем, исконно русский самовар. Он такой же исконно русский, как и татарское иго, благодаря которому

самовар и появился на Руси, — горячился Костя. — Самовар от татарских ханов, а сибирские пельмени завезли из Китая — даже само слово по-китайски звучит: пель-мень! А прообраз пресловутых русских щей надо искать, конечно же, в германских землях, наряду с романтизмом в русской поэзии. Русская кухня, если разобраться, попросту говоря, наглый плагиат!" — гремел Костя, пока Нуклия уже по собственной инициативе прикладывалась к третьей порции лечебной смеси и не столько вслушивалась в Костины слова, сколько разглядывала остроскулую и широконосую Костину физиономию, объединявшую в одном лице всех трех русских богатырей из Третьяковской галереи: Алешу Поповича, Добрыню Никитича и Илью Муромца на трех конях, то ли охраняющих рубежи России от контрабанды кулинарных рецептов из-за рубежа, то ли высматривающих эти самые рецепты из-под ладони, а вокруг скелеты врагов, смертельно склоненные, в разбитых доспехах.

В притушенном свете присутствующие действительно склонялись под невероятными углами друг к другу и сквозь джойсизмы непонятной русской речи стал пробиваться храп, перемежающийся взрывами хохота и странными звуками из недр квартиры; так что казалось, вокруг никого как бы и нет, кроме нее, Клио, и его, Константина, полномочных представителей Запада и Востока в переговорах на высшем уровне, где генсек Востока отстаивал первенство Запада, а премьерша Запада упорно склонялась к Востоку. И она-таки склонилась бы окончательно и упала со стула, если бы Костя не подхватил ее вовремя своей крепкой рукой, напоминающей сушовой половник.

"Вас надо лечить", — твердо сказал Костя, нетвердой походкой ведя ее в прихожую. Пока он попадал рукой не в тот рукав и застегивал пуговицу не на ту петлю, Клио предприняла последнюю попытку возвратиться без лишних метаморфоз к родным рубежам и рванулась обратно в квартиру, бормоча: "А Марга, где же Марга?" — и еще что-то про запланированную на завтра Суздаль с гидом. Но по подозрительно чмокающим звукам и знакомому смеху из-за двери ванной Клио ста-

ло ясно, что Марга осматривает совсем другие достопримечательности столицы. Не отдавая себе отчета во вспышке злой ревности, остро приправленной водкой и перцем и шибанувшей ей в виски, Клио хлопнула входной дверью западной цивилизации в лицо Марге, и, подхватив под ручку Костю, шагнула на российский мороз.

Царапающейся кошкой вцепился в лицо свищущий по улице ветер поземки, и ей снова стало тоскливо от тюремного коридора заиндевевшей улицы с притушенными огнями вокзала на другой стороне площади — вокзала, откуда не уедешь ни в Лондон, ни в Тунис. Но Костя не дал ей опомниться и с неким ковбойским гиканьем, как будто прищипывая коня, "эй-эй", потащил Клио к притормозившему на углу грузовику-фургону с большими буквами "Мясо" на боку. После короткого препирательства с кепкой, свесившейся из окна кабинки, дверца открылась, и въедливый мороз сменился не менее въедливой вонью бензина и разогретого металла. Но Клио уже не обращала внимания на эти перемены климата. Такой грузовик с таким водителем мог бы встретиться и на раскаленном калифорнийском шоссе Западного берега по ту сторону Атлантики, куда, казалось, и мчался лихой водитель, и Клио прижималась к Косте на поворотах, превращаясь в героиню приключенческого фильма, в краденую невесту из боевика, "вестерна".

Водитель, скосив глаз, пробормотал: "Качественные на гражданке джинсы. Иностранка, что ли? Может, продаст? Моя-то уже который год нудит: купи-да-купи. Я ей говорю: куда тебе, как ты в эти водопроводные трубы влезешь своими маслами?! Ты же спецовку каждый год меняешь на размер больше. А она все: джинсы-да-джинсы. Может, твоя продаст?"

Если бы Клио понимала этот мужской разговор, она бы решила, что Костя сторговался с водителем, потому что его рука, сжав ее колено, поползла вверх и легла на молнию, не растегнув которую, нельзя, как известно, и снять с себя джинсы. Но ей было все равно. Ее последняя трезвая мысль крутилась вокруг того, как она будет пересказывать свои "русские приключения" в Лондоне, под завистливые взгляды Марги.

Однако последующие эпизоды первого свидания скрылись из памяти или по причине водочного тумана, который замутнял восприятие с такой же эффективностью, с какой пресловутый лондонский туман замутняет видимость, или же по причине сугубой интимности, разоблачением которой Клио не решилась бы бравировать даже сама перед собой. Не говоря уже о приступах страха, подрывающего аппарат мнемоники не хуже московской водки и лондонских туманов. Она смутно помнила, как они ввалились в тамбур-коридорчик коммунальной квартиры, как Костя старался идти на цыпочках и, естественно, опрокинул что-то со страшным грохотом, и Клио вскрикнула не своим голосом, потому что нечто волосатое и щетинистое вцепилось ей в лицо (наутро оказалось — половая щетка). Потом была возня с раскладной тахтой (совсем из бабушкиного прошлого, с порвавшейся ситцевой обивкой в подозрительных пятнах и злоумышленными пружинами), которая никак не раскладывалась, и вдруг разехавшись, ударила Клио под коленки, и она опрокинулась на тахту лицом в потолок, напоминающий желтое небо с надвигающимися из разных углов завихрениями смерча в виде паутины или просто копоты. Над тахтой нависали полки со змеевиками, колбами, пробирками и ретортами — настоящая лаборатория средневекового алхимика. И сам Константин, нависая над ней в очках (или ей это показалось со страху, она больше никогда не видела у него очков), раскладывает на столе батарею банок, вроде бы из-под майонеза. "Обнажите спину", — голосом инквизитора или пыточного медика говорит он глухо и начинает ворожить над банками: держа баночку вверх дном, зажигает спичку и начинает прокалывать стекло — и в отсвете спички Клио кажется, что его курносый нос на самом деле крючковатый, палаческий. "Ну?" — угрожающе повторяет он и, стянув с нее блузку, пытается перевернуть ее на спину — еще одно движение — и банка присасывается к ее коже. Клио чувствует, как кожа втягивается в банку, вытягивая из нее душу. Все истории из газеты "Сан" и "Телеграф" о пыточных застенках Лубянки материализовались в

образе Кости, надвигающегося на нее с зажженной спичкой и баночкой в руках, но только никакой боли она не ощущала, а спину стало странно и по-детски щекотать и пощипывать, и то ли от щекотки, то ли от наплывших гебистских кошмаров, Клио дернулась, сметая выстроившиеся ряды пыточных орудий и опрокидывая на себя Константина. И как будто дернулся тяжелый железнодорожный состав, потому что комната дрогнула, качнулась, и поплыла под скрип тахты, как купе поезда дальнего следования, и сердце стучало синхронно с нарастающим гулом на стыках рельсов; и вместе со струей паровозного пара, ударившего в пах, она дернулась от протяжного паровозного гудка, вырвавшегося как будто из собственного горла.

Она забылась или, точнее, задремала с мыслью о справедливости фрейдистской параллели полового акта с поездом дальнего следования, но снились ей тем не менее горчичники, о которых Фрейд, наверное, не слышал, да и сами эти горчичники путались у нее с грачами, экзотическими русскими птицами, которые били крыльями в ее грудь, а может быть, это были горячие, горчичные, грачиные руки Кости. Но фрейдистские параллели потеряли свою образность и метафоричность, когда она проснулась от настоящего нарастающего стука колес и вскочила в панике от режущего ухо паровозного гудка. В окне, у изголовья тахты, мелькали вагоны поезда, и комнату раскачивало наяву, как купе поезда дальнего следования, поскольку Костин дом находился в прямом соседстве с железной дорогой. Будильник показывал часа три, судя по всему, дня, и поезда ходили, видно, круглую ночь, и в буквальном и во фрейдистском смысле. Она рвалась в гостиницу, но, по настоянию Кости, решила изучить значение нового для нее слова "опохмеляться", что снова возвратило их к кулинарным традициям разных стран и народов, то есть снова оказавшись голой, Клио выслушивала целый список неведомой для нее латыни кулинарных имен по-русски, которыми Костя награждал каждую часть ее тела, с фруктовым повтором "клубнички и малинки", что вызывало хоть какие-то эротические ассоциации, в отличие от загадочной и медицинской

"раковой шейки", которой он наградил по неясным для нее причинам первопричинное место постельных восторгов. Короче говоря, когда он довез ее до гостиницы "Золотой колос", на улице снова была тьма тьмущая. Она хотела провести его к себе в номер, чтобы не прощаться на морозе и вообще, но швейцар загородил грудью вход и повторял: "Не положено". Клио пыталась объяснить швейцару, что номер оплачен и что Костя — ее гость, а не швейцара, но тот упорно качал головой: "Золотой колос" есть интурист для иностранцев. Костя? Если Костя — значит не положено".

Они прощались, одновременно прижавшись губами к прозрачной стене из пуленепробиваемого стекла; и, глядя на съжившуюся и сутулую от мороза фигурку Кости, с кроличьей протертой шапкой-ушанкой из-под воротника драпового пальто (такие шапки носят негры в Нью-Йорке), глядя на этого отверженного, путанно семенившего под порывами ледяного ветра в отблеске фонарей, подсвечивающих черный туннель зимней улицы, Клио вопреки логике — как эмоций, так и географии — увидела в Костиной побежке возникшую из ее прошлого тень лондонского подростка, как будто вслепую убегающего с места преступления. Подростка звали Колин. Она пыталась отогнать этот лондонский призрак, но, хотя прежде вспоминала об этом кошмарном эпизоде своей канцелярской жизни со злостью и отвращением, тут, неожиданно для себя заплакала и, прижимаясь к пуленепробиваемому стеклу, на мгновение спутала новогоднюю Москву с рождественским Лондоном. Сколько лет назад? Кто бы мог подумать, что и этот эпизод придется излагать на суде?

3. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОДАРОК

Она помнила тот зимний день, как будто это случилось вчера. Нечто подобное лишь следовало ожидать от лондонских рождественских канунов. В тот обеденный перерыв все секретарши, машинистки и младшие клерки ринулись хором в ближайший паб: пьянство в подобный день превращается, как

известно, чуть ли не в религиозную обязанность, и неприсоединившемуся грозило церковное отлучение от коллектива. Не сумев исторически прочувствовать братство на революционных баррикадах, люди проявляли нерастраченный энтузиазм к сплочению в такой форме, когда неизлечимый эгоизм и врожденный инстинкт к отделенности выглядели бы как искренние жесты личной заботы каждого о коллективе.

Клио представила себе толкучку перед барной стойкой, где каждый, держась за свой карман, перекрикивая галдеж и усердно работая локтями, будет заказывать напитки "по кругу" на всех в порядке очереди. Выходило вроде бы даже вполне демократично: каждый заботился о всех, все — о каждом. Но ни у кого не было шанса вложить в общее счастье большую, чем другие, долю, как не было возможности и уклониться вообще от заранее рассчитанной контрибуции. Это была система открытого вымогательства под прикрытием братского радушия и коллективной щедрости.

В конце этой "круговой поруки", если в ней участвовало, скажем, человек десять, каждый вываливался из бара вдребезги пьяным. Девицы, конечно же, будут вначале настаивать на "шенди" из пива с лимонадом, но, покрасневшись и уступая настоянию мужчин, перейдут на кампари и джин с тоником; а мужчины по случаю праздничной даты будут пижонить шампанским с брэнди, но закончат все теми же пинтами эля и биттера, от чего вся вторая половина дня до начала рождественской вечеринки, пройдет в рыгании и зевоте до треска скул.

Эта круговая порука морального шантажа под видом радужного коллективизма продолжалась и на улице. Сквозь огромное стекло кафе-закусочной с пластмассовыми столиками псевдодетской расцветки, подавлявшей своей фальшивой игривостью, как сквозь витрину шикарного магазина, Клио, ускользнув от коллектива, с отвращением взирала на уличную предрождественскую суматоху. Как и на детских рождественских пантомимах, в этой сутолоке год за годом участвовали все те же персонажи, преувеличенно хохоча, преувеличенно жестикулируя, пытаясь обратить на себя

внимание сверхоптимизмом, не вяжущимся с вежливой угрюмостью уличной толпы в обычные дни.

В красном кафтане, с полуотцепившейся ватной бородой Дед мороз из супермаркета напротив надрывался в мегафон, рекламируя в качестве рождественского подарка набор никелированных ножей для разрезания индейки; его явно перешибал оркестр с хором Армии спасения. В черных с красной оторочкой похоронных униформах старые девы подбадривали в унисон вот-вот готового родиться святого младенца, поощряя его на самоубийство через уготовленное распятие. Этот оркестр и торговый гам в свою очередь пытались перекричать зачочневшие от холода школьницы с гербом-клеймом своей школы на лацканах убогих пиджачков — с раскрытыми, как от внезапной боли, ртами, они надрывались: "Прийди, позволь, прийди, позволь нам обожать твою юдоль!"

Между ними по тротуару шныряли, как сыщики, собиратели пожертвований, агенты добротства раз в год по особым случаям: по случаю дефективных детей и инвалидов войны, в поддержку лесбиянок-пацифисток, против изнасилования китов американскими ракетами и расовой дискриминации людоедов, в защиту оккультных меньшинств и во имя гуманизма террористов. Вся эта свора толкалась на тротуаре, гремя жестяными банками-копилками; грохот денежек о жесть отзывался в висках тоскливым нытьем, от него скребло по сердцу, как вилкой по тарелке; этот грохот напоминал шаманское заклинание племенных барабанов, охоту на ведьм — твое сердце загоняли в угол моральным шантажом, чтобы подхватить его, как полудохлого таракана, этой жестяной банкой; в этих банках гремела твоя измученная окаменевшая совесть, размененная на медяки. Нация совестливых вымогателей и попрошаек морального долга. Клио открыла кошелек, отсчитала положенную сумму за котлету-гамбургер с кофе, вытерла губы салфеткой и приготовилась подняться, когда ее взгляд снова встретился с глазами одинокого посетителя у самой двери. Ей показалось, что он давно уже на нее посматривает и уселся у двери, как

будто на страже. Ей не понравилось, с какой готовностью он перехватил ее случайный взгляд.

Она была почти убеждена, что именно этот человек маячил вот уже второй день перед окнами ее конторы за углом. Возможно, он шел за ней всю дорогу. Сейчас среди рождественской суеты он явно не спешил со своим "ленчем", если чашку мутноватого кофе с едва надкусанным сэндвичем с сыром (самый дешевый в преискуранте заведения) можно было назвать "ленчем". И тем не менее и к кофе и к сэндвичу он относился с осторожностью человека, редко позволяющего себе трату денег в общественных заведениях, когда тот же кофе с сыром дома обходится чуть ли не в три раза дешевле. Для него посещение этой непрезентабельной забегаловки было чуть ли не светским выходом на люди. Об этом свидетельствовала и сама поза: с небрежно отставленной рукой с сигаретой, отклонившись на спинку стула, нога на ногу, что придавало ему, человеку в возрасте, нарочито юношеский вид. Эта наигранная беспечность лишь усугубляла потрепанность и жалкость его внешности.

На первый взгляд, он вообще выглядел как один из лондонских клошаров и побродяжек, обитателей ночлежек для бездомных, а то и прямо из-под моста Ватерлоу, где много решеток подземки, откуда пышет жаром поездов и накопленным спертым дыханием пассажиров и где можно переждать в полусне даже такую ночь, когда кругом леденеют лужи — если зарыться хорошенько в пустые картонные ящики.

Лоснящееся от слишком плотного соприкосновения с уличной жизнью пальто, истерзанные погодой грубые башмаки, да и само лицо — складки алкогольных морщин, вымоченные в уксусе лет белесые глаза, — все говорило о том, что человек этот живет "под мостом", "в канаве", "на дне", если бы не крайняя тщательность и продуманность всех деталей внешности: все в нем было выскоблено и вычищено — от башмаков до лица, аккуратно выбритого, со следами свежих бритвенных порезов, с безупречным пробором вылезших выцветших волос, прикрывающих стыдливо костистый череп. Впрочем, такие типы встречаются и в ночлежках — под рож-

дество многие из них наводили марафет на свою внешность: доставали из-под матрасов спрессованные годовой спячкой ветхие пиджаки, застиранные манишки и закрученные в иссохший стебель плюща галстуки; брили алкогольную щетину, чтобы тихой, похоронной толпой сгрудиться в очередях на благотворительной раздаче тонкой, как пожухлый осенний лист, порции рождественской индейки с подливкой Армии спасения, а если повезет, и стакана уксусного красного вина из подвалов горсовета, наряжались, чтобы, отстояв эту очередь, как некий религиозный долг, точнее, — как безмолвное подтверждение негласного договора о ненападении между милостью дающими и принимающими подачки, снова исчезнуть еще на год в канаве, под мостом, за обшарпанными стенами ночлежек.

Клио, удостоверившись в еще одной этикетке убожества и несчастья, разложенного в Англии по полочкам, как в хорошем обувном магазине, испытала бы даже некую гордость, гордость знатока, если бы не заметила на столике этого джентльмена лондонского дна бумажный пакет-обертку книжно-канцелярского магазина "Смит". Как будто боясь потерять эту драгоценную покупку, человек не отнимал от пакета рук. За те несколько минут, пока они обменивались взглядами, этот человек пару раз приоткрывал обертку, явно с целью удостовериться в наличии драгоценного для него предмета, проверить, в полной ли он сохранности, полюбоваться на него еще раз с умилением довольного покупателя и снова аккуратно заклеить краешек пакета. Такая преувеличенная тщательность в обращении с упаковкой говорила о том, что покупка была предназначена для кого-то другого. Подарок. Рождественский подарок. Другу? Родственнику? Но побродяжки из ночлежек, по определению, как раз те, у кого не осталось ни друзей, ни родственников, не осталось никого, кому следует дарить подарки по праздникам; обитатели дна это как раз те, кто никогда не дарит подарки другим — все подарки в виде подачек предназначены для них, чтобы хотя бы по праздникам восстановить фальшивую гармонию и равенство между бездомными одиночками и теми

семейными, кому опостылел родной очаг. Человек за столиком в углу не был побродяжкой, потому что ему было еще чего терять и, следовательно, чего дарить. Он, следовательно, не нуждался в скорбных медитациях Клио. Она поэтому отчетливо помнила собственное удивление, замешательство и даже испуг, когда, проходя к кассе мимо его столика, вдруг услышала: "Простите меня, пожалуйста".

Она остановилась и взглянула сверху вниз на обращенное к ней лицо, глядящее заискивающе, прижатое к столику ее тяжелым безразличным взглядом; на шевелящиеся как будто с запозданием губы, произносящие раздельно, с недурным акцентом полуобразованного человека, слова "Простите меня, пожалуйста" так, как если бы он действительно просил у нее прощения за то, что он не прошел ее экзамена на кандидатуру обделенного и страждущего. И все еще не решаясь подняться, не решаясь сравняться с ней в росте и положении, он стал путано излагать, с постоянными извинениями, покашливаниями и паузами одну, собственно, фразу — о том, что вот уже второй день он "не осмеливается обратиться к ней с просьбой", но тем не менее ее сочувствующий взгляд позволяет ему надеяться на "взаимопонимание в свете отцовских чувств накануне рождения святого младенца". Она уже потянулась к кошельку, решив, что у нее невразумительно выпрашивают на выпивку, когда, продравшись через собственную запутанную преамбулу, человек поднялся и представился: "Колин мой сын, я — его отец. Вы же знаете Колина?", — проговорил он, тряхнув головой, то ли с гордостью, то ли извиняясь за собственное отцовство или за собственное потомство.

Сходство между отцом и сыном было несомненным. Убожество было явно наследственным. Достаточно было вспомнить лицо Колина, чтобы убедиться, что сходство в убожестве между ними выходило за рамки классового происхождения. Этого долговязого, белесого до прозрачности подростка привела неделю назад в учреждение бухгалтерша Макаляски, женщина огромных размеров и такого небольшого роста, что, казалось, покашливает она не из-за курения крепчайших си-

гарет без фильтра, а из-за того, что стала страдать приступами удушья, вынашивая дылду таких огромных размеров, как Колин, у себя в животе. Он, казалось, родился на свет переростком, с остановившимся интеллектом, запечатанным в остановившемся взгляде, который он пронесет всю жизнь, чтобы выглядеть полурепенком под старость, как и его отец, и эта туповатая застылость взгляда с возрастом будет восприниматься как залог невинности и простодушия, ностальгических атрибутов британских лиц. "Нечего ему в каникулы с панками в парках дебоширить, — сказала бухгалтерша, представляя сына сотрудникам, — Здесь многому можно поучиться. Он у меня способный, вырастет, станет, может быть, менеджером?" "Менеджером!" С первого взгляда было ясно, что Колин никогда никем не станет, что из Колина никогда ничего не выйдет, как явно ничего не вышло из его отца. Фатально ничего!

От вида обоих у вас тут же начинались симптомы простуды — ком в горле и щекотка в переносице — от тошнотворной до слез мысли о том, что и ты для кого-то выглядишь так же, как Колин с его папашей. И у тебя был отец — полуобразованное ничтожество, с семейными лекциями о мировом зле и пользе воспитания через телесные наказания, переходящими в наглядные уроки по мере того, как опустошалась бутылка виски; материнские вопли, постепенно растворяющиеся в храпе отца, а наутро стынувшая чашка чаю, недопитая матерью, убегающей на работу под хлопанье дверей, и завтрак в одиночестве и прогуленные занятия в школе. Никогда с такой точностью сын не следовал по стопам отца на протяжении стольких поколений. И все они были твоими заурядными соотечественниками: родились на соседней улице, прогуливали школу, не сдали аттестационных экзаменов, не попали в университет, и чем дальше, тем яснее и предсказуемей каждый твой день — прочерченный маршрутом из дома на работу, с работы в паб, из паба домой и на завтра обратно по той же проторенной поколениями недоумков тропке. Привычка свыше нам дана и для тех, кому она — замена счастью, зачисляются добровольцами в эту армию "простых и честных людей", как го-

ворят политики, оплот любого общества, созданного, как цирковая арена для клоунских выходок немногих избранных. Но среди этих "простых и честных" добровольцев поневоле — попадают солдаты с серьезнейшим из армейских дефектов — излишком, довеском интеллекта: недостаточного, чтобы выбиться в командиры этого мира, но и превышающего тот необходимый и достаточный рацион мозговых клеток, который гарантирует бессловесное место в железном строю. Этого излишка хватает лишь на осознание того, что, хотя все генералы этого мира и называют себя солдатами, есть на свете такие рядовые, которые никогда не дослужатся даже до сержанта. Этот довесок интеллекта тянет на дно. В любой другой стране этот обделенный удачей рядовой нашел бы свою компанию, вышел бы в отставку, нашел бы свое кафе, пивную, клуб, где полоумный в духовном братстве с недоумком формулируют свою политграмоту сиамских близнецов интеллекта как альтернативу антропологическому индивидуализму избранных мира сего. Но на этих островах, где идея приватности распространяется не только на жилища, но и на черепные коробки людей, такому изгою никто не заглянет в глаза, и сам он никогда не решится постучаться другому в душу. Остается лишь вот так вот, раз в год под Рождество, выйти и посидеть в пустынной забегаловке, глядя на уличный праздник за оконным стеклом.

Клио следила за нелепым танцем энтузиастов благотворительности, громыхающих жестяными копилками за окном, как в кадре немого фильма: звук гремящих денежек был выключен толстым стеклом витрины — точнее, рождественский ажиотаж альтруизма на улице был озвучен занудными и одновременно робкими разъяснениями отца Колина. Клио наконец стала вслушиваться в его бормотанье о "горячо любимом плоде трагически неудачного союза" с госпожой Макаляски, и из этих жалоб следовало, что господин Макаляски в страхе перед бывшей супругой, не решается зайти в контору к Клио, где ошивался его сын, и вручить ему рождественский подарок. Он бы послал подарок по почте, но боится, что посылка будет перехвачена его супругой, бухгалтершей

Макаляски, — так вот не согласится ли Клио передать этот подарок Колину сама — из рук в руки. Убогий джентльмен держал наготове лелеемый предмет в обертке. "Почему бы вам самому не передать из рук в руки?" — очнулась Клио, стараясь отвязаться от нелепой просьбы. Макаляски уже давно раздала зарплату и отправилась по магазинам; вряд ли она вообще вернется до начала служебной вечеринки "Вам нечего бояться", — сказала Клио и направилась к кассе.

"Значит, мне можно — с вами?" — радостно и заискивающе переспросил Макаляски и бросился обратно к своему столику. Клио краем глаза видела, как он в три глотка допил кофе, помешкал и, завернув остатки сэндвича в салфетку с предусмотрительностью бродяг и холостяков, засунул бутерброд в карман пальто. Он нагнал ее уже на улице и засеменял рядом, явно тяготясь паузой и от этого пристраиваясь к Клио то с левого бока, то с правого.

"Молодое поколение, вы знаете, совершенно фактически разуверилось в загробной жизни, — вдруг решился сказать он, перекикивая рождественский хор Армии спасения, когда они приостановились на перекрестке у светофора. — Совершенно нет уважения перед преклонным возрастом. Режут бритвами старух, я читал в газетах. Потому что нет веры в загробную жизнь, фактически. Если веришь в загробную жизнь, уважаешь и стариков, тех, кто на пороге этой жизни фактически, не так ли?" — Он снова засеменял рядом, как будто не надеясь на ответ.

"Можно верить в загробную жизнь и тем не менее эту жизнь ненавидеть. Как нечто такое, что только для привилегированных. И поэтому ненавидеть тех, кто на пороге этой жизни", — сказала Клио и добавила, как будто передразнивая: "фактически!" Почему жертвы несправедливости, любой несправедливости — последние, кто эту несправедливость осознают, как жена — последняя, кто узнает об измене мужа? Клио раздраженно покосилась на семяющее рядом с ней воплощение убожества. Макаляски вдруг остановился, как будто догадавшись о скрытой оскорбительности ответа Клио.

"Я, пожалуй, не пойду дальше, — сказал он, и заискивающая улыбка исказила его испитое лицо. — Я фактически боюсь", — добавил он, извиняясь за собственную слабость, и Клио облегченно вздохнула, как всякий человек, которого не удалось уличить в дурных помыслах: Макаляски явно не догадывался о том, что она о нем думает. Помедлив, он сунул Клио помятый пакет с пятнами от его вспотевших ладоней и быстро, почти бегом, засеменял обратно к метро. Оторопевшая Клио сделала нерешительную попытку остановить его, но, поглядев на его сутулую, затянутую в потертое пальто спину, так и осталась стоять на тротуаре.

Перед тем как нырнуть в подземку, это нелепое существо порылось в карманах и бросило монетку в одну из грохочущих жестяных банок, ловко подставленных ручкой школьницы. Школьница с благодарностью кивнула ему в легком реверансе, и Клио дернулась, то ли повторяя поклон, то ли в судороге отвращения — раздражения — на непредсказуемость человеческой природы, или из зависти?

В офисе от рабочего дня осталась одна видимость, судя по тому, как праздничная толкотня бездельничающих сотрудников начинала раскручиваться словно елочные гирлянды. Демонстративно вцепившись всеми десятью пальцами в клавиши пишущей машинки, Клио поглядывала на девиц, которые, балансируя на стульях и кокетливо повизгивая в руках мужчин, якобы предотвращающих их грациозные торсы от неминуемого падения, развешивали по углам новогоднюю мишуру. Кое-кто уже разгуливал в рождественских фесках из цветной бумаги, а главный менеджер требовал неотложной помощи, водружая сахарную сливу на елочную макушку.

Кто-то требовал, чтобы разыскали штопор, поскольку уже вносились ящики с кислым вином. Стрекотание пишущей машинки Клио явно всех раздражало или ей казалось, что всех раздражало. Деловые бумаги сметались со столов, чтобы предоставить место батареям бумажных стаканчиков для вина и бумажным тарелкам, на которых женская половина учреждения ловко раскладывала второсортные тартин-

ки с ветчиной и паштетами, блюда с арахисом и чипсами, Вот когда Колин был бы к месту. Клио поймала себя на том, что следит не столько за праздничной суетой, сколько выискивает глазами его унылую, долговязую фигуру с запуганными белесыми глазами, как у отца. И чем больше она вглядывалась в мелькающие лица сотрудников, тем чаще отдельные черты лица Колина — вытянутый подбородок, вздернутые брови, впалые щеки, торчащий затылок — повторялись, как будто размножаясь, в лицах, искаженных напором предпраздничной суеты. Но самого Колина не было видно.

Всю неделю он торчал в офисе, подобрав ноги под стул и сжав коленки, пристроившись рядом со столом бухгалтерши Макаляски, как цыпленок-переросток под боком у кудахтающей клуши. Иногда она толкала его в бок и указывала глазами на секретаршу, несущую через все учреждение гигантскую кипу папок-досье. Колин немедленно вскакивал и бросался помочь. "Он многому здесь может подучиться, — громким шепотом повторяла Макаляски коллегам, — канцелярская работа, знаете, сейчас — как никогда!" И она начинала ругать компьютеры. Выполнив свой долг новобранца на посылках, Колин возвращался на свое место, как послушный пес, принесший хозяину газету в зубах, и жадно следил из угла за беготней секретарш и клерков. Чем больше он чувствовал свою излишность, тем больше старался услужить. Клио иногда перехватывала этот собачий, просящий неизвестно чего взгляд, наследственно отцовский, как теперь стало ясно — с первобытной тягой услужить и со скрытой уверенностью, что услуг не потребуется.

Начало недели оказалось для него обманутой надеждой, фальшивым обещанием — когда в результате предрождественского ремонта надо было перетаскивать столы и железные шкафы с досье; тут он оказался как нельзя к месту, но и то на час, не больше. Когда рабочие приступили к сверлению дыр в стене, он, отвергнутый, послонялся между столами и снова вернулся к своей невидимой конуре около машины-бухгалтерши. Как только какая-нибудь секретарша или клерк поднимались из-за стола, Колин вскакивал и бро-

саялся с предложением услуг — и сотрудники от испуга шарахались и чертыхались. Колин делал вид, что не слышит.

Катастрофичность его услужливости проявилась в подаче кофе. Предложение сбегать за кофе для каждого желающего стало его последней картой в отчаянной борьбе по доказательству своей незаменимой роли в офисе. Кофе с чаем выдавалось в бумажных стаканчиках из машины-автомата на другом этаже учреждения. Когда торчишь по восемь часов за пишущей машинкой, подняться из-за стола и пройтись по этажам к кофейному автомату — настоящее развлечение для каждого клерка. В коридорах можно было постоять у доски с объявлениями и распоряжениями администрации, поглазеть из окна на соседнее здание, где в таких же офисах сновали от стола к столу такие же клерки: тот факт, что и другим не лучше, несколько утешал. На услужливо склонившегося Колина смотрели с плохо скрываемым бешенством. Его предложение сбегать за кофе отнимало последнюю возможность встать и поразмяться и утешиться сознанием того, что и другим так же плохо, как и тебе. Но стоило взглянуть на его прыщавое лицо с подрагивающей улыбкой тонких губ, на моргающие, запуганные глаза, и оставалось в свою очередь криво улыбнуться, с деланной благодарностью кивая головой. Всякий раз, когда суетливая спина Колина скрывалась за дверью, выражение благодарности сменялось гримасой и сдавленным чертыханием: "идиот!" Бухгалтерша Макаляски делала вид, что не слышит, или же действительно не слышала, громогласно подытоживая характер своего выкормыша: "Услужливость, — говорю я ему, — залог карьеры!"

Во время одной из таких okazji Колин, уже в дверях, неожиданно обернулся, как будто ища взглядом подтверждения материнскому афоризму; как раз в этот момент Клио с издевательским подмигиванием за спиной у Макаляски покрутила указательным пальцем у виска, комментируя дегенеративность всего семейства Макаляски.

Сейчас, вспоминая все эти унижительные эпизоды, она была уверена, что Колин в тот момент смотрел именно на нее —

не для нее ли он отправлялся за кофе в тот раз? Недаром она тут же сделала вид, что поднесла пальцы к виску, чтобы поправить прическу. Бесило то, что именно она, с ее всепониманием, должна была бы ему сочувствовать, но как раз у нее он вызывал наибольшее раздражение, именно потому, что напоминал ей саму себя. Возлюби ближнего, как самого себя. А если самого себя ненавидишь? Если к самому себе испытываешь отвращение?

Лишь когда начальство, перекрикивая гул голосов, официально объявило о конце рабочего дня и из усилителей раздались тяжелые, в поддых, удары диско, Клио поднялась из-за стола, хотя уже давно казалось нелепостью заглушать звон бутылок бормотанием клавиш пишущей машинки. Кто-то всучил ей бумажный стаканчик с кислым вином, и с бумажным сухим лицом она стала пробираться в угол, чтобы отстоять там положенное законами коллективизма время.

Тоска подступала к груди, как изжога от кислого вина. Они будут надираться до потери сознания, только потому, что за вино платит начальство. Единственная активная форма классовой борьбы — за счет своего желудка. И вместо революционных гимнов — хоровое, школьное "Мэри кристмас и хэппи-нью-йер" с притопом и прихлопом и хэппи-энд с рыганием и блевом. Под Рождество все население этих островов получало мандат на инфантильность: каждый считал своим долгом изображать из себя проказливого ребенка. Это было ежегодное массовое впадение в детство, санкционированное религией или, наоборот, преждевременное, загодя, ежегодное проявление сенильности, лицензия на пускание слюней. Вокруг постепенно воцарялась атмосфера детской площадки, где пьяные воспитатели играли с подвыпившими младенцами в кошки-мышки равенства и братства. Как по долгу, все становились развязными. Подчиненные хлопали по плечу начальство, и начальство, деланно хохоча, проглатывало под кислое вино узаконенную на вечер фамильярность подчиненных. Но в действительности каждый шаг жестко рассчитан. Стоит чуть пережать в интонации или допустить не тот жест — и на тебя тут же посмотрят. Тебя тут же осадят.

Клио инстинктивно отстранилась, когда к ней пристроился, по приятельски положив ей руку на плечо, директор фирмы, друг и босс Антони. Расплескивая кислое вино на свою скромненькую курточку ценой в месячную зарплату секретарши, он широким жестом демократа очертил в воздухе полукруг бумажным стаканчиком и, перекрикивая шум и гам, стал делиться с Клио своими интимными мыслями: "Всего четыре года назад, сколько нас было? А сейчас, сколько нас сейчас? Но атмосфера в фирме — та же — атмосфера семьи и коллектива, семейного коллектива, коллективной семьи", — стал подпевать он рычащей пластиночной мелодии и начал протискиваться через толпу к бухгалтерше Макаляски. Та, оттесненная спинами сотрудников, торопливо давясь и одновременно подпевая "Мэри кристмас", уничтожала крекеры с нашлепками паштета и сыра — с жадностью голодающего младенца из Эфиопии. Подхваченная под руки начальством, она завертелась на своих толстых ножках, хихикая по школьному, в старомодном твисте.

Клио поймала себя на том, что все это время провела, выискивая глазами Макаляски-младшего в клубах табачного дыма, под артиллерийские залпы диско. Эти представители простонародья появляются и исчезают из жизни, как белоснежные цветы лондонских деревьев весной. А сейчас середина зимы. И под эхо начальственных слов про семейность коллектива до Клио наконец дошло, что Колина на этой вечеринке не должно быть в принципе. Он мог бы появиться во время рабочего дня благодаря снисходительности начальства к семейному положению бухгалтерши. А на рождественскую вечеринку его никто и не думал приглашать — вечеринка не для семьи, а для коллектива, который и есть семья. И Клио окончательно почувствовала себя непрощенной, как и Колин, родственницей на чужом празднике.

Снаружи, на улице, было так же неестественно темно, как неестественно светло было внутри, в учреждении. Как будто эта, окоченевшая от заморозков улица была умышленно задуманной декорацией, наглядным пособием и моральным уроком для тех, кто отделяется от коллектива в такую дату.

в такую погоду, в такой век. В других странах, где лето есть лето, а зима — зима, в такое время года в ночной мгле кружат снежинки, приглашая тебя к танцу жизни, несмотря на мороз, как, наверное, в Москве. Но тут, в Лондоне, где времена года смешались, как и представления о том, где мужской, а где женский пол, и погода превратилась в трансвестита, не было даже снега, чтобы смягчить характер ожесточившегося мороза асфальтового мрака, который не кончался улицей: в конце маршрута была еще и холодная комната. Как можно примирить этот напор добрых чувств, братские объятия под звон бокалов, который слышался даже сквозь освещенные зашторенные окна, с убожеством и одиночеством потом, здесь, за дверью, на замороженном асфальте? Если только все эти манифестации любви и дружбы вовсе и не предназначены для других, а лишь публичная демонстрация сугубо личных душевных чаяний, как на школьном экзамене — твой голос слышат все, но слушает тебя лишь экзаменатор. Неужели нет на свете другого острова, другой цивилизации, где нет этой учительской линейки под названием личная ответственность — за собственную жизнь, за собственную совесть, за собственную смерть? — линейки, которая хлещет тебя по рукам и по сердцу всякий раз, когда ты забудешься и вообразишь: или виноваты все или никто не виноват, и поэтому о собственной вине можно вообще не думать.

...Он возник из-за горы черных помойных мешков, наваленных у подножья лестницы, как будто эти тускло поблескивающие полиэтиленом тюки с отбросами ежедневного существования были коконами, где вызревали ублюдки человечества, вылупляющиеся по ночам и становящиеся снова отбросами при свете дня — мотыльки подпольного мира. "Колин! — с фальшивым энтузиазмом воскликнула Клио. — У меня для тебя, — начала было она про подарок, но голос ее тут же осекся. Ей не понравился его взгляд: Колин не смотрел прямо в глаза, его глаза блуждали по ее лицу, глаза нерешительного убийцы. — Иди домой, Колин", — прошептала она как будто сама себе.

В ответе фонаря блеснул нож, зажатый в маленьком кулачке Колина. Не нож, а ножик — перочинный ножик, школьный предмет, которым точат карандаши или что там делают перочинным ножиком, перья точат? "Иди домой, Колин!" — повторила она, отступая к фонарю у подъезда, сказала громко, в надежде, что кто-то услышит, и все же стараясь сдерживать истерику, чтобы он не подумал, что она его предаст, зовя на помощь. Но в одном прыжке он сумел зажать ей рот рукой из-за спины, и они попятились задом, как будто отступали от дикого чудовища с раскачивающимся в темноте единственным глазом в виде фонаря; отступали от страшной опасности, прижатые — насильник и жертва — друг к другу враждебной для обоих пустотой, нелюдимостью городского проулка, не сулившего выхода на светлую улицу. У Клио подвернулся каблук и, оступившись, оба свалились за помойные мешки. Надо было кричать, но она почему-то не закричала. И не только потому, что в голове смутно всплыли какие-то анекдотические инструкции: не сопротивляться, закрыть глаза и думать о родине. Не только из-за страха перед перочинным ножиком. Тем более, что этот ножичек, звякнув, выпал из его трясущихся рук, из бегающих по ее телу пальцев, бессмысленно рвавших ее шелковую офисную блузку, неумело задиравших тугую узкую юбку. Еще немного и очередь дойдет до путаницы в трусах и колготках. Страх вообще пропал. Наступила скука ожидания, как на приеме у гинеколога или перед собеседованием при приеме на работу. И еще впивался в бок загадочный предмет вывалившийся из сумки, предназначенный в подарок этому существу, которое сейчас сопело, тужилось и хлопотало над неподатливым телом Клио. Она подумала с беспокойством, что подарочная обертка, о которой так заботился отец Колина, совсем, наверное, истрепалась об асфальт и стала гадать, что же скрывалось под этой оберткой: картонка конфет? Набор письменных принадлежностей? Коробка домино? Так или иначе этот предмет выброшен на помойку, валяется сейчас под боком у помойных мешков, больно впивается ей в бок, напоминая, что она никому ничего не пода-

рила. Она действительно за всю свою жизнь никому ничего не подарила, как никогда никому ничего не дарят дошедшие до последнего, до дна, побродяжки, ночующие под мостами, в канавах, на помойках, зарывшись в пустые картонные коробки, в закутке из помойных мешков. Как валяется сейчас она, прикрываясь, как жестким одеялом, этим ошалевшим от собственного убожества подростком. Одним из тех, кто проверяет бритвами существование загробной жизни на старухах-пенсионерках? Она для него — такая струха? Нет, она валяется на помойке, как выброшенный подарочный предмет, отвергнутый рождественский подарок человечеству. Уготовленный для того, кто никогда ни от кого не получал подарка.

"С-сука, с-сука", — как будто в ответ то ли матерился, то ли стонал и хныкал Колин. Он никак не мог войти в нее и лишь неловко терся, причиняя ей боль, вжимаясь в ее пах. Как жертва голодной эпидемии, не способный проглотить даже желанную лепешку хлеба, доставшуюся ему чудом — из милости. От его волос на слипшейся челке исходил острый запах дешевого одеколona — запах школьных вечеринок и первых свиданий, тошнотворное напоминание о годах беспомощности, унижений и надрыва, когда ожидаешь от мира всего и чтобы сразу, а в ответ получаешь презрительные пинки и снисходительные затычины. Он дернулся и застыл, сдавленно дыша, когда протиснувшаяся вниз рука Клио нащупала сморщившийся от стыда и испуга комочек беспомощной плоти у него между ног. Как ребенок в кошмарном сне, он скрипел зубами, когда она пыталась выжать из него ту самую силу, запрятанную в зажатую в тайниках грудной клетки, не освободив которой он на всю жизнь останется озлобленным и никчемным попрошайкой чужой доброхотности или ее, Клио, сострадания. Его лицо металось у нее перед глазами, как огромный слепой мотылек, которого одновременно и боишься, и презираешь, и жалеешь, и стараешься любыми средствами выставить в приоткрытое окно. Он бился об нее, как мотылек об стекло, и после нескольких безнадежных толчков, в ладонь Клио пролилась

горячая и липкая струйка, на мгновение померещившаяся кровью. Как будто ужаленный, Колин взвыл и стал отползать от нее на четвереньках. Его лицо с почерневшей половиной, очерченной светом фонаря, было уродливо оскалено, как у запыхавшейся уличной собаки. Но сама она, заведомо, выглядела еще более отвратительно; если все происходящее и было с ее стороны подвигом сострадания и жертвенности, подумала она, то так поступала она отнюдь не из-за снисходительности. Ее бескорыстие состояло в том, что к самой себе она испытывала еще большее отвращение.

Когда Колин, все еще с разинутым в судороге ртом, подхватил с земли нож, Клио тоже приподнялась и, стоя на коленях, стала ждать короткого заслуженного удара под сердце. Даже в темноте было видно, что он смотрит ей, может быть, впервые прямо в глаза; его горло издало наконец-то какой-то полухрип-полувсхлип и, неожиданно развернувшись, он двинулся — сначала сбивчивым шажком, а потом трусцой, спотыкаясь и ссутулив спину, как побитое животное.

Клио поднялась с колен, медленно, с механической тщательностью оправила юбку, попыталась приладить шов разодранной блузки и, наконец, стала застегивать на все пуговицы, до самого горла, вымазанное асфальтовой изморозью пальто. Она нагнулась за сумочкой, когда рука ее, шарящая в темноте по асфальту, наткнулась на измочаленную и скомканную обертку. "Жан-Жак Руссо. "Исповедь" — прочла она в отсветах фонаря на обложке книги, извлеченной из ключев оберточной бумаги. Эгалитэ, фратернитэ и либертэ — и свобода, и равенство, и братство. Или в другом порядке? Во всем виноват общественный порядок. Она вспомнила — этот провозвестник французской революции учил тому, что во всем виновато общество. Общество делает нас такими, а сами мы не виноваты. Руссо должен быть доволен, что послужил в эту ночь подстилкой для человеческого унижения. Он не виноват. Мы виноваты. С обложки книги смутно улыбалось хорошо откормленное лицо французского мыслителя, совершенно непохожее на лицо его убогого британского поклонника, потратившего на эту испо-

ведь свои последние деньги во имя воспитания своего потомка в духе гуманизма.

Клио подошла к огромным, в человеческий рост, железным контейнерам за мешками с помойкой и размахнулась, чтобы забросить туда нелепый и никому уже не нужный рождественский подарок. Но рука ее застыла в воздухе, и сама она стала в ужасе пятиться назад. Из металлического ящика, как из квадратного гроба, выросли два монстра подземного мира, два обитателя дна, двое доходяг в отрепьях. Небритые, с провалившимися щеками, со всклоченными волосами, сами похожие на объедки человечины, они рылись в отбросах руками, затянутыми в нитяные черные перчатки с обрезанными по-английски концами, так что в темноте торчащие голые пальцы выступали сами по себе, как будто кисти рук были обрублены. Они показались ей состарившимися, как если бы уже минуло десятилетие, призраками Колина и его папаша. Один из них мял в руках сломанную пластмассовую куклу, только что вытащенную из груды помоев на дне ящика. Другой, оскалившись, поскреб живот куклы ногтем и стал смеяться беззубым ртом, сначала тихо, идиотически, а потом все громче, животным ржанием. Клио истерично хихикнула. Оба повернулись к ней и, гогоча, подбросили куклу высоко в воздух. Она упала, глухо цокнув целлулоидом об асфальт; с оторванной рукой, с проломанным животом и вывернутой шеей — лишь ее стеклянные глаза глядели на Клио своей вечной, божественной, рыночной голубизной родившегося в эту ночь святого младенца.

4. ЗАГОЛИВШИЙСЯ РУССО

"Эти круги спекулятивно заявляют, что если бы не пацифисты, вроде Олдоса Хаксли и Бертрана Рассела, Гитлеру не удалось бы осуществить геноцид. И мы, мол, играем точно так же на руку врагу. Мол, если бы не наше движение в защиту мира, не было бы разгула тоталитаризма и что мы льем воду на мельницу... Я пока оставляю в стороне вопрос

о том, кто в действительности пособник тоталитаризма в наши дни, и хочу сказать, что мы, по крайней мере, льем воду, а не подливаем масла в огонь будущих войн", — и Антони закашлялся, поперхнувшись очередной банановой долькой. Марга стукнула его ладонью по спине. Как будто подхлестнутый этим жестом, Антони возобновил репетицию собственной речи на завтрашнем антиядерном митинге. "Если бы все были, как я, то есть как мы, на свете не было бы ни советского тоталитаризма, ни американского империализма. Это, конечно, несколько метафизическое утверждение, но хватит калечить свою совесть соображениями национальной безопасности, когда скоро от нации останется сплошной радиоактивный порошок — безопасность будет гарантирована! И пусть нам не говорят: наши демонстрации в защиту мира используют враги свободы за кремлевскими стенами. Я уверен, в Советском Союзе достаточно людей доброй воли, кто правильно поймет нас; по крайней мере, если это произойдет, они будут знать, что мы не хотели войны. А пока они должны вдохновляться нашим примером. Безответственные представители русского диссидентства настолько ненавидят завоевания социализма, что готовы сбросить атомную бомбу на головы собственных детей, матерей и стариков. Пусть попробуют отыскать пути к мирному существованию с советской властью и перестанут обвинять нас, английскую интеллигенцию, в том, что мы не ратуем за самоубийственную блокаду Советского Союза. И, кстати, кое-какое движение в этом направлении уже намечается: я на днях читал в "Таймсе", что русские пацифисты развернули на улице плакат с лозунгом "Миру мир!"

"Это партийный лозунг, — перебила его всезнающая Марга. — Такие лозунги висят там на каждом углу, и это не пацифисты развернули, а на первомайской демонстрации, на Красной площади".

"Вслед за Олдосом Хаксли я предпочту остаться в живых при советской тирании, чем стать обугленным трупом при нашей псевдодемократии, превращающейся в фашизм в ходе подстрекательства к третьей мировой войне".

"Ты тут расцитировался Олдосом Хаксли. Но все это, заметь, не Олдос Хаксли говорил. Это говорит в романе его герой. Законченный, между прочим, подлец. Соблазнил по ходу романа невесту своего друга, и друг кончает самоубийством. Тот еще пацифист!"

"Слишком легко, Марга, опорочить идеи, очернив личность того, кто эти идеи отстаивает. По другую сторону железного занавеса живут как-никак люди, а не инопланетные монстры, как некоторые воображают, лицемерно разглагольствуя насчет разницы между тоталитаризмом и буржуазной демократией. Все мы не без греха!"

"Мы, конечно, все акулы капитализма, но не стоит, однако, путать котелок с вареной ухой и аквариум", — процедила Марга.

"Аквариум?! Да кому нужна эта островная лужа с толпой лягушек среднего класса, громко квакающих всякий раз, когда им показывают восковую мумию под названием английская монархия?! Даже ястребы из Политбюро не соблазняются на эти сифилитические останки британской империи, медленно уходящие ко дну! Правь Британия! Рули британский бриг! Ни-ког-да рабом не будет славный брит!" Антони, гримасничая, раздувал щеки, голоса этот патристический куплет с натужным энтузиазмом. Клио казалось, что Марга постоянно прерывала монолог Антони не ради того, чтобы опровергнуть ложные, как ей представлялось, идеи, а исключительно, чтобы привлечь внимание Константина. И Антони тоже явно поглядывал искоса на эту дубину стоеросовую в дальнем углу садика. Они не понимали, с кем имеют дело. Или, наоборот, побаивались собственных слов в его присутствии? И соревновались друг с другом, пытаясь завоевать его благорасположение?

Периодически тучки напозлали на солнце и вместе с сопровождавшим это природное явление порывом ветра в разговор врывался щебет птиц, как будто удалявший от Константина на безопасное расстояние сентенции Антони и едкие опровержения со стороны Марги. Молчаливое нависание Константина на дальнем плане в эти моменты птичьего ще-

бетанья становилось не таким назойливым и подавляющим. Он мешал своим присутствием, фактом своего советского происхождения изящным умозаключениям и аргументам в защиту одностороннего разоружения. Он напоминал о существовании на заднем плане той страны, где правительство тождественно морозу, солнцу, смерти и вообще всей природе, которую, как известно, бесполезно переубеждать. Всякое напоминание об этом мешало Антони сведению счетов со своими соотечественниками.

"Мужчинам скучно, они желают повоевать — поразмять кости. Правь Британия! Что мы, слабаки? Хуже америкашек? И мы, мол, сверхдержава, и у нас есть чем утереть нос коммунистам! Вы понимаете, на чем вся эта пропаганда держится? — обращался Антони к Марге и Клио, как будто к многотысячной толпе пацифистов. — А сейчас для прикрытия этой агрессивности и мужского шовинизма они пользуются рукой Москвы".

"Слава Богу, хоть есть что прикрывать. Не то что у некоторых". На чей счет адресовала Марга этот циничный намек, Клио не поняла.

"А что прикрывать? Что прикрывать? — заерзал Антони. — Все ту же ничтожность, лицемерие, жестокость, жадность, нетерпимость, зависть?"

"Похоть", — вставила Марга.

"Да, похоть. Но главное, агрессивность. Если бы только Запад и Восток могли бы раскрыться друг перед другом, сбросить с себя фиктивные одежды враждебных идеологий! И это саморазоблачение, если хотите, кто-то должен начать первым. Я имею в виду одностороннее разоружение".

"Жан-Жак Руссо тоже вот звал назад к природе и призывал сбросить с себя постылую сутану цивилизации, — Марга подняла с травы валявшуюся у стола "Исповедь" карманного издания и стала лениво листать страницы. — А чем все это закончилось? Гильотиной французской революции. А началось с невинных актов эксгибиционизма. Ты знаешь, Клио, что Жан-Жак Руссо тоже любил разоблачаться? Встанет за углом, приспустит штаны и показывает член проходя-

щим девицам, никак не могу отыскать это место", — мусолила она книгу в руках.

Антони, как будто пришибленный этой репликой Марги, замолк. Клио кусала губы. Она не могла простить себе, что забыла утром книгу у садового столика и теперь не решалась вырвать "Исповедь" из чужих мусолящих ее рук. Она сжилась с Жан-Жаком Руссо. Он был как будто единственным свидетелем того унижительного до отвращения эпизода с Колиным; старому Жан-Жаку Руссо, помятому во время попытки изнасилования, измазанному об асфальт у помойки, она могла довериться. Это надругательство над его "Исповедью" было, казалось, последним эпизодом унижения, уготовленного судьбой этому проповеднику беспощадной искренности к самому себе, этому певцу личной правды, этому философу личного спасения, обличителю церковных и государственных авторитетов — всех тех, кто навязывает нам понимание истины как бюрократической целесообразности, одной из жертв которой считала себя, вместе с Руссо, и Клио. Но она не столько вникала в его философию, сколько в образ этого человека, со смущенной улыбкой в поджатых, как у женщины, маленьких губах на лице, беспомощно глядящем с потрепанной обложки книги.

Вместе с ним она содрогалась от унижительной похоти, когда рука наставницы хлестала его розгами, приспустив штаны, и когда он поджидал проходящих девиц за углом, расстегнув ширинку, зная, что наступит день, когда его за это страшно поколотят. Вместе с ним была преисполнена отвращения и негодования, но одновременно и любопытства, когда монах-иезуит пытался приучить его к содомии, и вместе с ним занималась по ночам онанизмом, чтобы удержаться от разврата. Вместе с ним она бежала от бездушных родственников, чтобы быть слугой в чужом доме и вздыхать по ночам, вспоминая шикарные светские приемы в господской гостиной. Вместе с ним совершала мелкую кражу в будуаре хозяйки и, страшась позора, наводила поклеп на невинную служанку, а потом страдала всю жизнь, пытаясь искупить вину. Вот уже какой год, перечитывая "Исповедь" Руссо, она в каждом эпизоде

очередного унижения видела и себя и убогого Колина, и трудно сказать, за кого она больше переживала: за Руссо, за себя или за Колина. Как в бесконечных перипетиях изгнания, в годах странствий Руссо — полных физических мук, страхов выдуманных и действительных, полных истинных унижений беженца и его собственной самоподозрительности — Клио угадывала свои собственные годы добровольной ссылки в Москве. Даже доходящие до болезненной экзальтации отношения Жан-Жака с госпожой де Варан, или, как он ее называл всю жизнь "мамочкой", напоминали Клио о собственных отношениях с Костей. Особенно этот эпизод — во время обеда, когда "мамочка", отправив себе в рот очередной кусок мяса, была напугана влюбленным притворщиком Жан-Жаком. Тот прокричал, что заметил на кусочке мяса волосок; "мамочка" выплюнула недожеванный кусок на тарелку, и Жан-Жак тут же с жадностью подхватил этот обьедок и проглотил его с любовной страстью. Жан-Жаку Руссо приходилось отдавать своих собственных детей в приюты для сирот. Куда ему, изгнаннику, воспитывать питомцев? И не таким ли, приютским ребенком, был Колин? Клио вспоминала презрительный и насмешливый взгляд, которым она обмеривала Колина, когда тот торчал в офисе и навязывал всем, и в первую очередь ей, свои медвежьи услуги — и ее охватывало то же чувство вины, что и Жан-Жака Руссо, вспоминавшего о своих детях, разбросанных по приютам.

Взгляд Клио блуждал по углам сада, наталкиваясь на маячившего у березы Константина, но видела она в своем воображении лишь униженную собственным преступлением приютскую спину Колина и готова была ему все простить — и нож в руках, и боль у себя между ног, и смертельный страх под ложечкой, только бы Колин забыл ее презрительный взгляд в прошлом. В свою защиту она могла лишь сказать, что была наказана за все это появлением в ее жизни Константина, тень которого как будто дотягивалась до нее даже сейчас.

Солнце пробивалось сквозь наползающую тучу косыми, заходящими лучами, которые крутились тенями и березы, и забора, и дома, и Клио показалось на мгновение, что в этом

хороводе теней фигура Константина, склонившегося над лопухами у березы, превращается в согбенного Колина, крадущегося за деревьями соседнего участка — или же действительно кто-то прятался за ее забором, подсматривал в щелку за ее унижительным тепершним бытом?

"Где же эта страница, где он девушкам член показывает?" — не унималась Марга, мусоля страницы книги. Клио знала все эти страницы наизусть, знала и номер страницы, которую искала Марга. Но, естественно, молчала. Ей хотелось вырвать свою "Исповедь" из богохульствующих рук Марги. "Я это к тому, что ракета — это ведь фаллический символ, не так ли? — Марга хихикнула. — Так что все эти ваши переговоры по сокращению вооружений — это, как мальчики в детстве Друг другу член показывают и меряются — у кого длиннее? Кто дальше насыт? А одностороннее разоружение, Антони, это добровольная кастрация. Желание стать евнухом, в то время как другой одержим врожденным страхом перед кастрацией. А евнухов известно для чего используют — Антони может с нами поделиться опытом, не так ли, Антони?"

"Ты за последние годы ужасно переменилась, Марга", — выдавил из себя Антони. И без перехода, с неожиданной агрессивностью: "Как ты могла забыть мои резиновые сапоги? Сегодня ночью явно будет ливень — завтра шагать добрых четыре мили по проселочным дорогам и по лесу к ракетной базе, в каком виде я появлюсь на митинге?"

"Можешь одолжить резиновые сапоги у Кости — в качестве первого этапа на пути к обоюдной кастрации Востока и Запада". И Марга заговорщически переглянулась со старой подругой.

"Константин свои сапоги никому не отдаст", — с неожиданной мрачностью отреагировала Клио. Ей хотелось пожаловаться на Костю, на его неожиданные ночные вылазки — когда он возвращался чуть ли не через сутки, сапоги измазаны до колен грязью, о чем всякий раз свидетельствовали чудовищные следы на ковре. С этими следами тоже приходилось мириться, как и с чудовищными запахами из кухни. Нет, сапогов он никому не отдаст — они ему были нужны для каких-то своих

тайных целей. Как и огромный острый нож, который он тоже всегда брал с собой. Как об этом можно рассказать Марге и Антони? Они примут ее за сумасшедшую.

* * *

С таким же скользящим и невидящим взглядом — так смотрят на не вполне нормальных — выслушивал Антони жалобы Клио на советский быт еще в Москве. Он явно ей не верил. Лишь бормотал в ответ, что у советского социализма, конечно же, есть свои внутренние недостатки. Например, обслуживание в гостинице "Россия" оставляет, мягко говоря, желать лучшего — но, в конце концов, эти отели строятся для иностранных туристов в эпоху, когда главное внимание правительство уделяет размаху жилищного строительства для трудового народа, и иностранец может и потерпеть, как терпит он, Антони, мелкие неурядицы своего московского визита.

Они встретились в тот раз в парке Сокольники, где Антони представительствова от своей фирмы на международной промышленной выставке — или что-то в этом роде. Они плутали по черным вырубам аллеи, пробитых в сугробах скребками дворников, как будто среди декораций к опере "Иван Сусанин". Антони, посетивший накануне Большой театр, отзывался об этой русской классике с двойственным чувством — с одной стороны, Иван Сусанин расправился с врагами своего народа демонстративно ненасильственными методами, заведя их в сугробы дремучих лесов, откуда обратно дороги нет, а с другой стороны, вело его на этот патриотический подвиг чувство слепой ненависти к врагу и ничем неприкрытой ксенофобии — чего Антони одобрить, естественно, не мог.

"Меня вообще настораживает патриотический настрой в кругах советской интеллигенции. От патриотизма до идиотизма — один шаг, — говорил Антони осторожно ступая по снегу. — Не говоря уже о фашизме. Я не отрицаю недостатков советской системы, но они, поверь мне, Клио, не идут ни в какое сравнение с язвами капитализма, к которым сле-

пы диссиденты. Я надеюсь, твой Константин не диссидент? Скажу тебе прямо, Клио: нам с такими не по пути", — рассуждал Антони, продвигаясь к опушке парка. Клио, которая пришла на встречу в надежде обговорить с Антони возможность переправки Костиного "кулинарного трактата" на Запад, помалкивала.

Антони трудно было упрекнуть в переменчивости взглядов; то, что твердилось в Лондоне, Антони был готов повторить и в Москве. И Москва явно завораживала его ответным постоянством, по крайней мере в мороз. Мороз и солнце в тот день были, как из стихотворения Пушкина, — застывшими и запечатленными на века. Пейзаж вокруг внушал Клио страх, равный страху перед советским правительством, таким же застывшим и неизменным за стенами кремля, как стволы деревьев за пеленой инея. Антони вжимался в воротник своего кашемирового пальто клерка из лондонского Сити, увенчанного соболиной шапкой-ушанкой, купленной по приезду в инвалидном магазине. Клио, не готовая к столь долгой прогулке по морозу, дрожала в своем дешевеньком пальтишке "дафл" с капюшоном чехословацкого производства, с каждым шагом чувствуя, как коленки в колготках примерзают к джинсам, заиндеветшим на морозе, и с ощущением замороженной, как треска в холодильнике, тоски в который раз выслушивала призывы Антони к Востоку и Западу: раскрыться, снять с себя фиктивные одежды враждебных идеологий!

Этот призыв был как будто поддержан гиканьем у них за спиной: отталкивая их в прилежащие сугробы, мимо пронеслась толпа мужчин. Мужчины были голые. То есть они были в плавках и купальных шапочках, но в остальном голые — огромные толстые мужики, с раздутой мускулатурой и пузатыми животами. Они протопали вперед, в прогалину между деревьями, семена по снегу розовыми голыми пятками к белеющему сквозь деревья замерзшему озеру. Один из них, игриво козырнув на ходу, толкнул Антони плечом, и тот полетел в сугроб под пролетающий мимо хохот. Шапка Антони отлетела в сторону. Он поднялся, утопая по колено в

сугробе, и стал отряхиваться от снега, с беспомощной извиняющейся улыбкой на лице. Ей вдруг впервые стало его безумно жалко.

На обратном пути Антони жаловался на Маргу: в который раз Марга отказалась сопровождать его в московскую командировку. Он пригласил Клио "на чашку чая" в отель, и Клио согласилась, но швейцар отказался пустить ее к Антони в номер, приняв Клио за советскую гражданку — английского паспорта в тот раз при ней не было.

Продолжение в № 83

Виктор ПЕРЕЛЬМАН

ТЕАТР АБСУРДА

Комедийно-философское повествование о моих двух эмиграциях. Опыт антимемуаров

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. РОДИНА, ТЕКСТЫ И Я

Нью-Йорк; Правительство в изгнании; Шинау; Израиль; Бейт-Бродецкий; Рувен Веритас и другие; Снова Нью-Йорк; "Свободный мир"; Мой иностранный паспорт; Дядя Сол; Под знойным солнцем Тель-Авива; Что нужно бедному еврею?; Дом, в котором я жил.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЗАЛП "АВРОРЫ"

Инженер Сэм Житницкий: "Оплот Израиля"; Мы жили... Мы ждали; Судьбоносный день; Сага о черемухе.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. НАХМАНИ, 62

Мой Атлантик-Сити; Лорд Шацман и его персонал; Про Мейерхольда и Ворошилова; Странная штука — жизнь; Лефортовская одиссея; Ленин-Бланк и наша эмиграция; Мать и мачеха; Пир победителей; Облака плывут, облака

Книгу можно заказать в редакции "Время и мы":

"Time and We" 475 Fifth ave, room 511-A

New York, New York, 10017 Цена книги 10 долларов.

М.ГЕРШЕНЗОН

ГЕРШЕЛЬ ИЗ ОСТРОПОЛЯ

Стихи и песни из пьесы М. Гершензона
"Гершель из Острополя" в переводе Льва Друскина

МОЛИТВА БОГАЧА

Сделай, Господи, так, чтобы чудо случилось,
 Чтобы все в моем доме рожало, плодилось:
 Чтобы каждый сундук сундуком разродился,
 Чтоб у каждого стула сынок появился.
 Сделай, Господи, так, чтоб у каждой салфетки
 Появились на свет белоснежные детки,
 Чтобы дочек и внучек имели буфеты,
 Чтоб росло их потомство — сделай, Господи, это.
 О Господь наш великий, владыка единый,
 Сделай так, чтобы гривны рожали полтины,
 Чтоб рубли наплодили десятки и сотни,
 Чтобы было чем хвастаться в праздник субботний.
 Я всегда в тебе, Боже, защитника видел,
 Ты ни разу еще богача не обидел.
 Сотвори, о Владыка, великое чудо,
 И в молитвах своих я тебя не забуду.

ПЕСЕНКА СЛУЖАНКИ

Что делать мне бедной? Хозяин готов
 Меня разорвать на сотни кусков,
 Чтоб каждый кусок
 Служить ему мог,
 Ни рук не жалея, ни ног.
 Чтоб каждый кусок выбивался из сил —
 Собакой цепной его дом сторожил,
 Чтоб цепью бренчал,
 На нищих рычал,
 А платы бы не получал.
 Двояся, лети!
 Двояся, бери!
 Двояся, мети!
 Двояся, вари!
 Двояся уродина, Двояся лентяйка!
 Вылей, налей, унеси-ка, подай-ка! —
 Слышно одно от зари до зари.

ПЕСЕНКА О ПИДЖАКЕ

Достался от деда мне дырявый пиджак,
 К нему я привыкнуть не мог никак,
 На такой поглядишь — заберет тоска,
 И сшил я себе брюки из пиджака.
 Кто брюки такие наденет — герой:
 Дыра издевается над дырой.
 Чтоб их залатать, не хватило бы рук,
 И сшил я жилетку из этих брюк.
 Жилетка, жилетка, кому она нужна?
 Уж больно неприглядной казалась мне она.
 Я с этой жилеткой расстаться поспешил —
 Из этой жилетки я шапку сшил.

Из шапки — суму, из сумы — платок,
 Но даже к нему я привыкнуть не мог.
 Его осмотрел я со всех сторон,
 Вдохнул сокрушенно и выбросил вон.

ПЕСЕНКА О СЮРТУКЕ

Десять лет мне плечи согревал,
 Сколько раз в болоте и в канаве
 Он со мной, как равный, ночевал.
 Но сегодня лучше
 Пусть на всякий случай
 Полежит в мешке мой старый друг.
 Если хочешь миску
 Ты увидеть близко,
 Прячь скорей свой нищенский сюртук!
 Он служил на совесть, не за плату,
 Был добрее, чем родная мать,
 И на нем я каждую заплату
 От души готов поцеловать.
 Но сегодня лучше
 Пусть на всякий случай
 Полежит в мешке мой верный друг.
 Если хочешь миску
 Ты увидеть близко,
 Прячь скорей свой нищенский сюртук!
 Я делил с ним голод и невзгону,
 Дождь и ветер, холода и мрак,
 С ним готов я и в огонь, и в воду,
 А к столу вот не пройти никак.
 И сегодня лучше
 Пусть на всякий случай
 Полежит в мешке мой добрый друг.
 Если хочешь миску
 Ты увидеть близко,
 Прячь скорей свой нищенский сюртук.

СВАДЕБНАЯ

Колокольчики трезвонят:
 Дили-дили, дили-бом!
 Едут гости, скачут кони,
 На дороге пыль столбом.
 Отворяй ворота —
 Места всем хватит!
 Госпожа Беднота
 На телегах катит.
 Ох и важные персоны!
 Попируют нынче всласть.
 Как подъехали с фасоном,
 Так и свадьба началась.
 Пусть в корчме теснота —
 Будем веселиться.
 Госпожа Беднота
 За столы садится.
 Все мы сестры, все мы братья!
 Хоть в кармане ни гроша,
 Хоть заплата на заплате,
 Да зато чиста душа.
 Ну и пир — красота!
 Свадьба всем по нраву.
 Госпожа Беднота,
 Пей, гуляй на славу.

ВЕЛИЧАЛЬНАЯ

Молодым и честь и место —
 От души мы пьем за них.
 Здравствуй, Цыпеле-невеста!
 Здравствуй, Береле-жених!
 Пусть вино течет рекою,
 На зубах хрустит жаркое,

Пей до дна! Пей до дна!
 Все оплачено сполна.
 Манит дедушку и внука
 Фаршированная щука.
 Пей до дна! Пей до дна!
 Все оплачено сполна.
 По душе отцу и сыну
 Золотой бульон куриный.
 Пей до дна! Пей до дна!
 Все оплачено сполна.
 Ешьте вволю, ребяташки,
 Крендель, маковки, коврижки,
 Да попробуйте вина —
 Все оплачено сполна.
 Молодым и честь и место —
 От души мы пьем за них.
 Здравствуй, светлая невеста!
 Здравствуй, радостный жених!

ПЕСЕНКА ГЕРШЕЛЕ

Дорогие гости наши,
 Ну-ка, живо в хоровод!
 Кто на этой свадьбе спляшет,
 Будет весел целый год.
 Старый и малый,
 Становись на цыпочки!
 Громче, цимбалы!
 Подпевайте, скрипочки!
 Ох и ладно! Ох и складно!
 Что за свадьба! Что за бал!
 Жаль на мне сюртук парадный,
 Я б не так еще сплясал.
 Старый и малый,
 Становись на цыпочки!
 Громче, цимбалы!
 Веселее, скрипочки!
 Прыгай легче, прыгай выше,
 Под собой не чужа ног.

Не сорвать бы только крышу,
 Не пробить бы потолок.
 Старый и малый
 Смотрят, встав на цыпочки.
 Громче, цимбалы!
 Громче, громче, скрипочки!

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА "СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК" 1984-1985
 Алексей Ремизов. Кукха. Розановы письма. 128 с.
 Константин Вагинов. Козлиная песнь. Роман. 200 с.
 Константин Вагинов. Труды и дни Свистунова. Роман. 178 с.
 Александр Чаянов. Путешествие моего брата Алексея в
 страну крестьянской утопии. Повесть. 196 с.
 Василий Аксенов. Затоваренная бочкотара. Рандеву. 144 с.
 Сергей Довлатов. Компромисс. Повесть. 128 с.
 Альманах "Часть речи" № 1. 320 с. № 2-3 - 320 с. № 4-5 - 320 с.
 Леонид Добычин. Встречи с Лиз. с.110 с.
 Леонид Добычин. Город Эн. 110 с.
 Марк Слоним. После России. Марина Цветаева в Праге
 и в Париже. 114 с.
 Михаил Булгаков. Записки на манжетах. 128 с.
 Николай Олейников. Иронические стихи. 128 с.
 Венедикт Ерофеев. Глазами эксцентрика. 82 с.
 Надежда Мандельштам, Мое завещание и другие эссе. 140 с.
 Маркиз де Кюстин. Записки о России. 160 с.
 Аполлинария Суслова. Годы близости с Достоевским. 200 с.
 Василий Яновский. Американский опыт. Роман. 208 с.
 Василий Яновский. Поля Елисейские. Воспоминания. 320 с.
 Владислав Ходасевич. Избранная проза в двух томах
 Том 1. Белый коридор. Воспоминания. 320 с.
 Том 2. Колеблемый треножник. Статьи о литературе. 240 с.
 Георгий Адамович. Избранная проза в двух томах
 Том 1. Сомнения и надежды. Статьи о литературе. 260 с.
 Том 2. Размышления и комментарии 240 с.
 Андрей Платонов. Впрок. Повесть. 100 с.
 Яков Голосовкер. Достоевский и Кант 140 с.
 Михаил Бахтин. Формальный метод
 в литературоведении. 236 с.
 Михаил Гершензон. Судьбы еврейского народа. 68 с.
 Юрий Домбровский. Ваятель масок Иткинд. Рассказы. 110 с.
 Серия "Шедевры XX века"
 Генри Миллер. Тропик рака. 240 с.
 Луис-Фердинанд Селин. Путешествие на край ночи. 312 с.
 Олдос Хаксли. Прекрасный новый мир. 192 с.
 Курт Воннегут. Царица-ночь. 187 с.
 Сомерсет Моэм. Подводя итоги. 316 с.
 Редактор и издатель Григорий Поляк
 Silver Age Publishing. P.O.Box 384. Rego Park. New York, 11374

Д.ЩЕДРОВИЦКИЙ

АНГЕЛ СООТВЕТСТВИЙ

1

Кого ты встретил,
Кого ты видел возле грушевой горы,
Кто с нами третий,
Кто двери лета затворенные открыл,
Кому все эти
Дубы и клены многоярусной игры,
Кто чище смерти
Оделся в тогу аистинных сладких крыл...

2

К небосводу багрового гнезда
Обратился приземистый лик:
За окном собирались деревья,
Я поклоном приветствовал их.

Что нам делать, стропила вселенной,
Колоколенок птичьих столбы,

Коль в подлунном наследном имени
Мы — клейменные страхом рабы?

Препояшемся бранной листвою
И на пилы пойдем напролом,
Если темный воссядет главою
За медовым гудящим столом.

Нам известны хоромы и клетки,
Мы в любое глядели окно.
Лишь молчавшим в течение столетий
На Суде будет слово дано.

ПАПОРОТНИК

Голландское кружево предков,
Пернатое рубище парии,
Чья прялка — истлевшая ветка,
А вешалка — рощица старая,

К тебе источенной минутой
Все мешкает полдень притронуться,
Малина с почтеньем пригнута,
И лист невзначай не обронится.

Я слово кувшином еля
Принес из оврага далекого,
Как там твоих братьев лелеют,
Как рвут их по швам в нашем логове...

* * *

Как самоцелью и судьбой сонат,
Как в сон глубокий,
Сквозные зданья снежные звенят
На солнцепеке.

Преображенный переходит в боль,
И виден лучше,
Когда так сладко виден лист любой
В осенней гуще —

И в небольшие эти города
Уйду на треть я,
Неразличимый от кусочков льда,
От междометья...

Всему светящему бывает
От воплощенья тяжело,
Тогда на слово уповает
Обледеневшее стекло.

Кто оглянулся, сном уколот,
И как по пальцам перечтет —
Сверканье, подлетевший холод
И в солнце листьев переход.

* * *

Подрезанное дерево — диковинный светильник,
Березы — только вышиты, судьба — совсем с иголки.
Лесные звезды спрятаны в суставах сучьев тыльных,
И светятся раскрытые ворота на пригорке.

Несложный выкрик скрытых птиц по рощицам рассован,
В глотанье глины — голоса разломанной недели,
Из глуби запаха болот — из кислого, косоного —
Зовут белесо. Не поймешь — ликуют ли, к беде ли.

И ветер выросший поет, взобравшийся на клирос,
В воде сияют под травой невиданные лики.
Расстелим плащ, разломим хлеб, посетуем на сырость.
Идти придется до утра — темно стучать в калитки.

МОРОЗ

Название позабыл. Мне кажется, оно
И раньше редко так произносилось,
А нынче вовсе страхом сметено,
В минуту вьюги в память не просилось —
Осталось корку бросить за окно.

Простите, не мертво оно. Скорей,
Застыло где-то. Зимами другими
Дышать ему пришлось. Я вспомнил: это имя.
Оно черствело льдинкой среди скорбей
И было больше пламени любимого.

АЛИ

Со смертью Али прекратились потоки,
И падали звезды, вопя о пощаде,
Вздымались низины, и змей пятиокий
Жемчужный престол перестроил в дощатый.

Но молвил Али о таинственном нищем,
Что явится ночью за царственным телом,
И брошен был труп на тележное днище,
И выли колеса в саду оголтелом.

Плоды опадали и лезли из кожи,
Но следом разгневанный вышел потомок,
И лошадь нагнал, и схватился за вожжи,
Взмахнув пред возницей мечом среди потемок.

И нищий откинул с чела покрывало:
Открывши лицо пролетающей кометы,
Али улыбался. И как не бывало
Ни лиц, ни времен, ни телеги, ни смерти.

* * *

Казалось бы — всегда с луною не в ладу,
А лучше — с яблоком садовым.
Но косточки горчат, и движется наш дух
Меж влажным и медовым.

Но капли входят в пар, и льется молоко
Среди созвездий убеленных,
И птицы устают от белых облаков —
И прячутся в зеленых.

ГЕТШАМАИМ (Судьба)

Ночь содрогнулась приближеньем боли,
Плоды пространства страхом налиты,
Звезд оскудение слышимо сквозь голый
И зримый голос пустоты.

Толпой созвездий глухо замирая
У входа в суженный зрачок,
Отягощенный свет взывает: "Равви!
Я в этой тьме — один, как светлячок".

ТРИАДА

Я слово во тьме, словно птичку, ловлю —
Что может быть лучше пути к соловью?

Оставь голоса — недалек твой закат.
Ты знал, как отдельные звуки звучат.

Он все обращает пред музыкой в прах —
И с ней пребывает в обоих мирах.

ЦАДИК

Записывай: истрепанные травы
В посте и созерцанье пожелтели,
И дуб темноволосый, многоглавый
Качается в молитве листвотелой...

Прости, но я неправильно диктую,
Шумели ветви, медленно стихая...
Я вписан в книгу, гневом налитую,
Я сам, молясь, смолою истекаю...

* * *

Почувявший скачки словесной лани,
Не медли, напрягая мысли лук,
Не оглянись, благословенья длани
С охотой возложив на легкий плуг.
— Он понимал, что говорят вокруг.

Склонившись над душой, расцветшей в тайне,
Над чашей ароматов и заслуг,
Не зная речи, в сумерках желаний
Вкусивший от тепла воздетых рук, —
— Он понимал, что говорят вокруг.

Скользят не по дороге лета сани,
Зимою колесницы слышен стук;
Над ним и в нем, концом его исканий —
Ствол вечности с дуплом избытых мук.
— Он понимал, что говорят вокруг.

РОБЕРТУ СТИВЕНСОНУ

Стучат настойчиво. Дверь отвечает
Таким же стучащим: "Кто?"

И в чашке качается, вместо чая,
Из книги сухой цветок.

Мой дом встревожен. С обложкой белой
Возилась ключница час.
Все только спали. Все живы, целы,
Зевают окна, лучась.

Узнай себя в этом старом рае,
В негромком особняке,
С погасшим садом душой играя
И с веточкой лет в руке.

ГЛУХОЙ

— Для чего ты звенишь, шелестишь,
Дал истоки звучаньям разным,
Разве ты соловей или чиж,
Что тревожишь нас голосом праздным?

— Что мне делать? При жизни со мной
Говорили лишь стоном и ревом,
И пред самой кончиной, весной,
Только клен перекинулся словом.

ИРЛАНДИЯ

Ты — болот и трясин колонист —
Пренебрег водопадом гортанным.
Рукавом от чудес заслонись,
Ослепленный ирландским преданьем.

Как оделись в печаль догола
И тела их олени, и лица,
Как из лука выходит стрела,
Будто слово из уст прозорливца.

Как зеленый пронзен средь полей,
Как в огонь увлекает багровый,
Как настигнутый синий олень
Закрывает надмирную кровлю,

О зверье застывающих чаш
Возвещая серебряным горном,
Расстилая светящийся плащ
В дольном мире и в имени горнем.

* * *

Целебнее и слаще темноты
Нет ничего вне солнца для виновных,
И яблоки забытых дел и новых
Смущенья краской тайно налиты, —

Так тяжело, что трудно их стряхнуть,
И лучше вместе с ними утопиться,
И дерево вины из тьмы напиться
Спешит, свершая свой недвижный путь.

Травинки тянутся из-под плиты,
И мести луч кору не пробуравит,
И невредим в полуночной оправе
Твой омертвелый жемчуг — жив ли ты,
И в тот ночной покинутый собор
Уж сколько раз ты брал меня с собой...

ИЗ ЦИКЛА "ПОЭТЫ"

КОЛРИДЖ

Внезапно расцветает море,
Обвито зарослями рук,

Вздымаясь в бунте и крамоле,
И над водою дышит Дух.

И в отрешенном ранге флотском
Пред небом шкипер предстоит,
И завещанье пишет лоцман
Для развлечения nereid.

И слышен шторма взмах последний —
Над вознесенною волной,
Над шлемом бурь, на самом гребне —
Сразился Ангел с Сатаной.

НИЗАМИ

В светлейших долинах лежал твой удел,
Но сам ты в один из семи
Тех дней не вечерних слететь захотел,
Как лист, и ослепнуть с людьми.

Ты вышел, покинув бессмертный простор,
Гремя золотыми дверьми,
Вослед не послышался окрик: "Постой!"
С небес безразличных семи.

Но, если стыдишься стать братом вещам, —
Мое увещанье прими:
Я родину душ по ночам посещал, —
И ты посети с Низами.

ГЕТЕ

Быть в сумраке — светом
И тьмой — поутру,

В метели — раздетым,
Одетым — в жару,

На Западе — шахом,
А в бездне — летать,
И каверзным взмахом
Пространства взметать,

Творить — и лениться...
Мелькнет эполет —
Учтиво склониться,
И плюнуть вослед.

ПЕТЕФИ

Зеркальное застывшее пространство,
Родные колосющиеся степи,
Вода и свет, обнявшиеся страстно, —
Свежа, недвижна родина Петефи.

Но — недруг сердца и мечты союзник, —
Душой кляни, а языком приветствуй, —
Со свитой чисел, офицеров грузных —
Шагает время мимо строя бедствий,

И говорит: "Я честью заклинаю, —
Исполни долг, а после славы требуй, —
Верни всю кровь — бурлящему Дунаю,
А весь порыв — безоблачному небу".

* * *

Над Иоганном-немцем
Все ниже небо виснет —
Так смерть играет сердцем:
Набросится — и стиснет.

Но, отпустив, забудет,
 Когда окликнет Бог, —
 И вновь катает судеб
 Запутанный клубок...

А ты решил, что просто
 Царить в крамольном теле,
 Считать по вдохам версты,
 По выдохам — потери,

Гореть созвездьем Рака
 В июле золотом,
 Кричать во сне от страха
 И забывать потом...

Листай, листай страницы,
 И жди, что боль с любовью
 Подробно разъяснится
 В обширном послесловье,

Но книга — не такая,
 И к ней пролога нет,
 И краткий день сверкает,
 И вспыхнет черный свет...

БОРИС ХАЗАНОВ Я ВОСКРЕСЕНИЕ И ЖИЗНЬ

ОДНОТОМНИК ИЗБРАННОЙ ПРОЗЫ 352 стр.

Однотомник избранной прозы Бориса Хазанова включает три произведения, которые объединены общей темой. Эта тема — "антивремя", эпоха, давшая жизнь поколению, чье детство и юность протекли в промежутке между двумя мировыми войнами. Вместе с тем антивремя — это время, обращенное вспять, упорядоченное нашей памятью и как бы переживаемое заново.

Повесть "Час короля" — история вымышленного миниатюрного государства, оккупированного нацистской Германией.

"Я Воскресение и Жизнь" — семейная драма, в центре которой стоит ребенок.

"Антивремя" — роман, действие которого, как и в предыдущей повести, происходит в Москве. Это история любви, связавшая трех молодых людей и рассказанная много лет спустя ее единственным оставшимся в живых участником. В роман вплетена тема "двойного отцовства" — русского и еврейского, которая становится частью общей темы исторической судьбы страны. Написанная в конце 70-х годов, книга вместе со всеми черновиками была арестована КГБ и позднее написана автором заново.

Все три произведения Бориса Хазанова, писателя, работающего в современной аналитической манере, с использованием многозначной символики и фантастики, но пишущего ясным, лаконичным и гармоническим языком, воспроизводят одну и ту же жизненную ситуацию — одиночество человека, отстаивающего свое достоинство перед грозными силами неумолимой Истории, деспотического Государства и своего собственного душевного подполья. Книги Бориса Хазанова не относятся к роду политической, идеологической, националистической или какой-либо иной ангажированной литературы, "Душа мытарствует по России в XX веке" — в этих словах Блока заключена вся его программа.

Заказы и чеки присылайте на адрес издательства:

Time and We

475 Fifth ave, suite 511-A, New York, New York, 10017

Цена 15 долларов, включая пересылку



Петр БОЛДЫРЕВ

"СОВЕСТЬ АЛГЕБРЫ", ИЛИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОВЕСТЬ

В этом журнале мы вновь обращаемся к логико-математической теории Владимира Лефевра, с которой он познакомил читателей в своей статье "Алгебра совести, или две этические системы" (№ 79). Как вытекает из статьи Лефевра, разработанная им модель предсказала существование двух нравственных систем, двух совершенно разных складов человеческого сознания. В первой этической системе объединение добра и зла оценивается негативно. Цель не оправдывает средства. Однако, как это ни парадоксально, "положительный индивид", этой системы априори стремится к компромиссу.

Во второй этической системе, напротив, объединение добра и зла есть добро. Цель оправдывает средства. И опять парадокс: положительный герой второй этической системы априори стремится к конфликту.

Экспериментальная проверка показала, что первая система наиболее последовательно проявляется в западной этической культуре; вторая — в советской. Противоречие этих двух систем является, по словам Лефевра, гигантской трагедией человечества. Ибо системы эти усваиваются людьми в недрах своей культуры через воспитание и обучение с детства, а затем действуют в сознании автоматически. Человек как бы "обречен" с рождения на определенный моральный тип.

Автор связывает первую этическую систему с иудео-христианством; ее идеал воплощен в образе Христа. Стандарт официальной советской морали олицетворен в образе Ленина.

Огромная опасность для общества, где реализована вторая этическая система, состоит в том, что его "герой", согласно общепринятым нормам, обязан конфликтовать. Иначе он не "герой". Это порождает состояние войны всех против всех и грозит обществу разрушением.

Напротив, "герой" первой этической системы — это "герой" компромисса. Олицетворением такого героя автор статьи считает бывшего президента Соединенных Штатов Картера, который всеми своими словами и действиями всегда подчеркивал стремление к компромиссу. "Все помнят, например, — пишет Лефевр, — как в Вене Картер поцеловал Брежнева. Мы специально интересовались, — продолжает он, — как воспринимают этот поцелуй недавние эмигранты из Советского Союза и американцы. Американцы восприняли это как вполне стандартное проявление христианского поведения. Все недавние эмигранты — как проявление слабости. Еще одна ситуация: группа террористов захватила небольшой самолет. Есть возможность их уничтожить, не нанеся ущерба пассажирам. Другая возможность — сначала вступить с ними в переговоры и попытаться убедить их сдаться. Руководитель группы освобождения принял решение: не вступать ни в какие переговоры с преступниками. Правильно ли он поступил? Большинство бывших советских граждан одобрило это решение. Большинство американцев осудило его".

В заключение Лефевр подчеркивает, что при построении модели его интересовали не столько действия индивидов, сколько оценки ими своих действий. Позитивный индивид западной системы идет на компромисс, чтобы поднять себя в собственных глазах; советский индивид стремится к конфронтации с той же целью.

Статья Лефевра сопровождалась редакционным комментарием, озаглавленным "Парадоксы современной этики", в котором, соглашаясь с Лефевром в его предпочтении первой этической системе, редакция сочла необходимым поставить вопрос о границах применения этой системы. С ее точки зрения, предпочтение Лефевра оборачивается идеализацией компромисса как чуть ли не единственного способа решения социально-нравственных конфликтов. Приводимый автором пример с поцелуем Картера выглядит искусственно. "Почему автор закладывает в свой эксперимент этот второстепенный и в общем ни о чем не говорящий факт?" говорится в комментарии. Почему бы ему не задаться таким вопросом: что являет собой детант, развязавший на многие годы руки советскому империализму? Не есть ли он куда более отчетливое проявление картеровского стремления к комп-

ромиссу, чем его поцелуй Брежнева? И не является ли более полезной для демократии конфронтация, избранная Рейганом?

И в случае с детантом, и в случае с террором культ компромисса, вытекающий из первой этической системы, объективно приводит к "объединению" добра и зла. Точнее, добро оборачивается злом. То есть происходит то, что негативно оценивается с точки зрения первой этической системы. С некоторым допуском можно было бы сказать, что система отрицает сама себя.

Опубликовав комментарий к статье Лефевра, редакция, однако, не считала, что этим исчерпывается разговор о двух этических системах. Более того, мы полагали, что статья Лефевра может стать отправной точкой для серьезной дискуссии на страницах журнала. В этом номере мы предоставляем слово одному из наиболее последовательных сторонников модели Лефевра члену Американской философской ассоциации Петру Болдыреву, который, отстаивая эту модель, полемизирует с ее оппонентами и, в частности, с редакцией нашего журнала.

"СОВЕСТЬ АЛГЕБРЫ", ИЛИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОВЕСТЬ

В 79-м номере журнала "Время и мы" опубликована статья Вл.Лефевра "Алгебра совести, или две этические системы". В ней автор очень популярно излагает основные положения своей логико-математической теории этического познания. Впервые на русском языке попытка подобного рода была предпринята в статье Мих.Вартбурга "Советский человек на социологическом randevu".* Несмотря на то что обе попытки кажутся удачными, теория в целом остается до сих пор terra incognita для широкого читателя. Она остро нуждается в объяснении и з н у т р и , не с точки зрения ее оппонентов или апологетов, а с точки зрения ее собственных характеристик.

1

Теория Лефевра построена так называемым д е д у к - т и в н ы м методом (от общего к частному). Это и вызывает все недоразумения и недоумения. Такова общая судьба

* См. "22", №24, 1982.

подобных моделей: понять (и принять) их сразу, "кавалерийским наскоком", нелегко. Между тем история науки свидетельствует, что именно дедуктивные теории, основанные на логике и математике, наиболее надежны в обращении. Они также достаточно просты в принципе, — гораздо проще теорий индуктивных, часто основанных на хаотичных и даже противоречащих друг другу экспериментальных данных, одобренных к тому же изрядной долей субъективных склонностей их авторов.

Говоря о трудностях, обратимся сначала к чисто внешним фактам. Лефевр между прочим (в сноске) предлагает желающим познакомиться "со строгой формальной моделью и техникой экспериментов" по его английской книге "Алгебра совести. Сравнительный анализ западной и советской этических систем".* Но он скромно умалчивает о своих предыдущих работах. А без них, пожалуй, разобраться в его последней книге трудновато. Это, по крайней мере, такие его английские работы, как "Структура сознания",** "Формальный подход к проблеме добра и зла",*** "Математическое моделирование этических систем"**** и особенно "Алгебраическая модель этического познания",***** непосредственно предшествующая "Алгебре совести".

Но и к этой последней работе, прежде чем добраться до основного текста, необходимо сначала пройти через некоего рода "чистилище". Это, во-первых, "Предисловие", написанное специалистом из университета в Торонто Анатодем Раппопортом, и, во-вторых, "Введение" самого Лефевра. В нем он сжато излагает основные идеи и содержание всех семнадцати глав, "Заключения" и десяти приложений. Лишь после этого дорога в "рай" (или в "ад", в зависимости от индивидуаль-

* Изд.Рейдель, 1982.

** Изд.Сейдж. 1977.

*** Общие системы, 1977, вып.ХП, с.183-185.

**** Материалы 2-й международной конференции по математическому моделированию, 1980, т.2, с.719-728. Изд-во Университета Миссури-Ролла.

***** Журнал математической психологии, 1980, №22, с.83-120

ного восприятия) открыта, и мы вступаем в странный и загадочный, на первый взгляд, мир так называемой булевой алгебры, где добро выражено символом "1", а зло — "0"; и где внутренний мир и особенности поведения человека выражены абстрактными математическими формулами. Но в том и состоит, подчеркивает автор, "главная техническая идея всего исследования". И в этом же, добавим мы, — главная особенность и преимущество его работы.

Идея Лефевра заключается в том, чтобы использовать взамен традиционной математики количества математику структуры. Количественные характеристики у Лефевра входят в калькуляцию "этических статусов" индивидов и ситуаций только как побочный продукт. Они служат лишь для сравнения дедуктивных выкладок с эмпирическими наблюдениями. Сами же дедуктивные выкладки остаются в центре внимания, являются основным продуктом структурного анализа.

Интеллектуальная сила модели как раз и состоит в использовании при ее построении четкого структуралистского метода. Это радикально отличает ее от тех современных моделей, которые базируются на эмпирическом методе, на сборе и обработке опытных данных.

Лефевр черпает крепость своей модели в другой логике, идущей скорее от Платона и Декарта, чем от Аристотеля и Дж. Стюарта Милля. Эта логика утверждает себя не путем произвольных абстракций от всегда несовершенного чувственного опыта (дающего нам не столько картину самой действительности, сколько нашего воображения о действительности), но путем строгой, в данном случае алгебраической дедукции.

Как говорит Лефевр о своей модели: "...достаточно было бы одного значимого нарушения, для того чтобы ее опровергнуть". Но его нет, и система стоит нерушима, составляя законченный в себе мир интеллектуальных определений. Они выражены математической символикой, но легко переводятся на обычный человеческий язык.

В свободе от эмпиризма и сенсуализма состоит также ин-

теллектуальная честность модели. Структурализм, в отличие от неопозитивизма (Л.Витгенштейн, Р.Карнап, Б.Рассел и др.) открыто утверждает, что единственные принципы, доступные разуму человека, устанавливаются самим разумом, а единственным доказательством их истинности является возможность систематической дедукции. Как определил один из основателей структурализма Клод Леви-Стросс: "Познание... есть отбор того, что совпадает со свойствами моей мысли... Сама моя мысль есть объект. Будучи "от мира сего", она обладает одной с ним природой".

Об этом же в сущности говорит Раппопорт в "Предисловии" к "Алгебре совести". Он предостерегает нас от возможной ошибки, связанной с ложной интерпретацией терминов "конфронтация (компромисс) добра и зла", играющих решающую роль в системе Лефевра. Раппопорт поясняет: в данном случае имеется в виду не эмпирический конфликт или компромисс между индивидами, но определенная умственная операция в моральном сознании индивида по объединению или разъединению априорных категорий добра и зла. Операция эта, конечно, производится в соответствии с этической философией культуры, к которой принадлежит индивид. Но сама по себе она автоматична, бессознательна, хотя и логична, рациональна. Здесь работают структуры самого интеллекта, носящие общечеловеческий характер и представляющие собой некую "символическую функцию", — скрытый, бессознательный механизм знаковых систем. Так нормально владеющий языком человек применяет в своей речи грамматические правила, не думая о них и даже, может быть, не зная о их существовании.

Соответственно названной только что умственной операции производит затем индивид акт выбора определенного типа поведения при взаимодействии с другим индивидом. Лефевр сводит все эти типы к двум основным, используя термины — "конфронтация" и "компромисс". Но необходимо помнить, что и здесь речь идет опять же лишь о моральной оценок индивидом конфронтации или компромисса с партнером.

Этот момент очень важен — в нем ключ к системе Лефевра. Он сам акцентирует это в своей статье, — и акцентирует д в а ж д ы. Не действия человека, во многом хаотичные и подверженные случайностям, интересовали его, когда он строил свою модель, но внутренняя о ц е н к а индивидом своих действий, а также м н е н и е его о себе в связи с этими действиями. "Выяснить, как внутренние переживания человека, связанные с теми отношениями, которые он устанавливает с другими людьми, влияют на его уровень с а м о у в а ж е н и я /разрядка везде моя, — П.Б./ — было для нас важнейшей задачей".

Необходимо, по-видимому, пройти через определенный искус, чтобы оценить своеобразную гармонию, я бы сказал, "музыку интеллекта", звучащую в модели Лефевра. Вспоминается Лейбниц и его знаменитая формула: "Музыка — это крик души, не умеющей себя вычислить". Лефевр ломает этот барьер, "вычисляет" душу. Он действует, как, наверно, действовал бы Моцарт, если бы был ученым, — не оглуляя, но, напротив, интеллектуализируя "музыку души", поверяя "гармонию алгеброй". (Я только не желал бы, если продолжить сравнение, приобрести Лефевру своего Сальери.)

Вспоминаются слова философа: "Математика, должным образом оцененная, обладает не только истиной, но и высшей красотой. Красота эта не имеет ничего общего с нашей слабой природой... Дух истинного восторга и наслаждения... принадлежит математике наравне с поэзией" (Бертран Рассел. Философские эссе).

И здесь я хотел бы поделиться собственным опытом, вкратце рассказать, как я сам шел несколько лет к тому, чтобы постигнуть красоту и силу модели Лефевра, интеллектуальную честность метода, лежащего в ее основе, — оценить то, что я назвал в заглавии "совестью алгебры", или интеллектуальной совестью.

2

В последней работе испанского философа Ортеги-и-Гасеты "Идея принципа у Лейбница и развитие дедуктивной теории"

есть замечательное определение теоретического знания, которое Ортега обобщает под именем "философия": "Вопреки предрассудкам (doxa) чувственного восприятия /так называемому "здравому смыслу", — П.Б./ философия по сути своей всегда была и есть п а р а д о к с ". Модель Лефевра поразительно точно подпадает под это определение.

В самом деле, главным теоретическим результатом своей работы сам Лефевр считает открытие парадокса между этической философией культуры, к которой принадлежит человек, и типом взаимодействия с партнером (конфронтация или компромисс), который он выбирает. Оказывается, что если философия культуры негативно оценивает этический императив "цель оправдывает средства", то положительный индивид этой культуры на уровне "человек—человек" будет стремиться к компромиссу и позитивно оценивать этот компромисс. И наоборот, если императив оценивается положительно, то компромисс с партнером оценивается негативно, индивид агрессивен. Парадокс этот, как и любой другой, смущает и возмущает, от него стараются избавиться или игнорируют его.

"Избавление", как показывают факты, идет обычно по трем основным каналам:

стремятся улучшить следствия модели Лефевра путем изменения ее исходных а к с и о м (но они в принципе неизменяемы);

хотят улучшить аксиомы, а вслед за ними и следствия, пытаясь дать определение исходным к а т е г о р и я м добра и зла (но они в принципе неопределимы);

и, наконец, используется аргументация, известная в логике под названием "аргумент от человека": частично или полностью отбрасывается сама м о д е л ь. Критики концентрируются на внешних, побочных обстоятельствах, связанных не столько с моделью, сколько с личностью автора, с его индивидуальными вкусами и предпочтениями.

По первым двум "дорожкам" блуждал вначале и я.

Первый из моих двух докладов по теории Лефевра* и был

* Доклад был сделан в апреле 1981 г. на научной конференции Западного социологического общества в Калифорнийском университете Сан-Диего.

как раз попыткой "улучшить" следствия путем "улучшения" аксиом. Не хочу вдаваться в подробности, но в результате моего "вторжения" в модель исчезла центральная "фигура" исследования — индивид, обладающий моральным сознанием. Предмет, как сказал бы незабвенный Павел Иванович Чичиков, оказался "того, фу-фу!", выпал во неморальную сферу.

Лучше всего определил, как это случилось, сам Лефевр в своем письме-комментарии. Лефевр писал: "Я построил формальную модель. Следовательно, я столь же беспомощен в контроле над следствиями, которые могут быть получены из исходных предположений, как и геометр: после того как система установлена, следствия предопределены. Ваш же подход больше похож на работу инженера-механика, имеющего дело с реальными и потому более пластичными конструкциями. У геометра, например, углы при основании равнобедренного треугольника всегда будут равны. А механик всегда может изогнуть немного боковые стороны проволоочного треугольника, и утверждение о равенстве углов станет неверным".

Я действительно выступил в роли этого "механика". Своим докладом я доказал от противного, что логико-дедуктивная модель этического познания, как и любая другая подобная модель, не терпит вторжения, ее надо принимать целиком, включая все ее аксиомы и следствия. И на их основе делать остальные выводы.

Или необходимо отбросить ее — так же целиком. Но тогда попытайтесь заполнить вакуум, построить на основе других каких-то аксиом другую модель на ту же тему — столь же логически неопровержимую!

Что касается второго доклада,* то здесь я пытался "переформулировать" уже не аксиомы даже, но определить сами исходные категории добра и зла, из которых составлены эти аксиомы. Попытка закончилась тем, что был утерян теоретический пафос, оказалась невозможной сама дедукция

* Доклад был сделан в июле 1982 г. на конференции "Советская литература 60-70-х годов. Духовный поиск" при Калифорнийском университете (Эрвайн).

из новых аксиом. Снова подтвердилась истина, что модель не терпит никаких вторжений, как не терпят их системы Эвклида и Эйнштейна, Лобачевского и Ньютона... любые непротиворечивые дедуктивные системы.

В конечном итоге, в обоих своих докладах я оказался, если можно так выразиться, "слева" от модели, — все еще в царстве "метафизики в пределах разума" (Кант), но уже за пределами этического познания. И такой итог мог быть предвосхищен из самого характера модели Лефевра.

А сейчас мы должны посмотреть, как обходятся с моделью "справа", когда действуют по третьему каналу, не "вторгаясь" прямо в модель, как будто даже частично соглашаясь с ней, а на деле отбрасывая ее и принимаясь за самого автора.

3

"Справа" от модели Лефевра господствует, как уже отмечалось, контраргументация *ad hominem*. О модели забывают, ее фактически не принимают в расчет. Но зато сам Лефевр выдвигается на авансцену — и не как автор определенной теории, а как идеологический оппонент. В результате игнорируются, казалось бы, самоочевидные и фундаментальные свойства модели, — такие, как уже отмеченное выше использование математики структуры, превращающее количественные характеристики в побочный продукт; или построение типов личностей, отвечающих или не отвечающих нормативным этическим требованиям своей культуры; или тот факт, что прежде всего моральная оценка (своего образа или образа партнера, или ситуации взаимодействия с партнером) является центральным предметом дедуктивных моделей.

Я заметил это печальное обстоятельство и еще в некоторых сообщениях на конференции в Сан-Диего. Так, например, В.Крейд в докладе "О теоретической модели этической философии" прямо утверждал, что одной из центральных характеристик модели Лефевра является "исключительно количественное /разрядка моя, — П.Б./ понимание" внутреннего мира индивида. Чем чаще индивид демонстрирует плохое поведение, тем хуже он выглядит с этической точки

зрения. И В.Крейд заключает: если этот количественный вывод из модели Лефевра является не побочным, а центральным (а таково именно мнение Крейда), то оказывается, что, например, рабочий, крадущий кусок мыла каждый день с фабрики, морально намного хуже убийцы, который убил только один раз.

Крейд здесь прибегает к софизму, что ясно даже и без специального обращения к модели Лефевра. Ибо если в течение, допустим, тридцати лет ежедневно рабочий Крейда совершает кражу (совершил их около 11 тысяч) и каждый раз осуждает себя за это (без раскаяния и искупления, ибо продолжает красть), то скорее всего к концу этого срока он превратится в моральную развалину. Гораздо, может быть, большую, чем убийца, отсидевший тот же срок в тюрьме, испивший свою вину и раскаявшийся.

Модель Лефевра позволяет эту ситуацию теоретически предсказать, а затем сравнить результаты дедукции с эмпирическими наблюдениями.

Точно так же лишь по недоразумению можно утверждать, что Лефевр "идеализирует" 1-ю этическую систему. В своей статье он предупреждает, что некоторые ее места будут окрашены его личными предпочтениями в силу свободного стиля, не позволяющего выдерживать беспристрастный академический тон. Как моральный индивид Лефевр, по-видимому, действительно предпочитает 1-ю этическую систему, отвергающую выбор дурного средства ради достижения благой цели. Таковы его личные склонности, но при чем здесь Лефевр-ученый и его беспристрастная логико-математическая модель?

Между прочим, и по существу совершенно неверно утверждать, что культ компромисса логически вытекает из 1-й этической системы, органически свойствен ее носителям и объективно приводит к "объединению" добра и зла. Такое утверждение может основываться только на недоучете некоторых важнейших сторон модели Лефевра, особенно его анализа связи этического статуса и структуры сомнения индивида (гл.VI-VIII "Алгебры совести").

Мы постараемся здесь изложить ход дедукции, связанной с

категорией "сомнение", подробней, ибо она может служить хорошей иллюстрацией логики всей системы Лефевра.

Любой человек в состоянии конфликта с другим человеком испытывает, по крайней мере, то, что Лефевр называет сомнением в "системе дружбы". Сомнение это очевидно сопутствует конфликту.

Согласно 1-й этической системе, это сомнение понижает этический статус человека в его собственных глазах, ибо по мере нарастания конфликта оценка ситуации, в которую он вовлечен у него повышается (конфликт добра и зла в 1-й этической системе оценивается как добро). Соответственно уменьшается страдание, но повышается чувство вины и падает самооценка.

Особенно бурно этот процесс снижения самооценки происходит, если партнер не дает никаких оснований для сомнения в его намерениях конфликтовать. Ибо в 1-й этической системе сомнение в правильности оценки намерений партнера повышает самооценку индивида. Отсутствие же такового — понижает. Все это — чисто формальные результаты.

Итак, перед индивидом в 1-й этической системе встает задача: как поднять катастрофически падающий в его глазах собственный этический статус?

Первый, самый естественный для него путь — постараться восстановить "систему дружбы", пойти на компромисс, то есть понизить, согласно своей этической философии, оценку ситуации, повысить страдание, понизить чувство вины и повысить свой этический статус. К тому же, если это удастся, у индивида повышается сомнение в намерениях партнера конфликтовать. Это дает дополнительный стимул для повышения этического статуса индивида.

Но что происходит, если партнер не идет на восстановление "системы дружбы" и продолжает нагнетать конфликт? Тогда, во-первых, он не дает нашему индивиду оснований для сомнения в намерениях партнера. Этический статус индивида в его собственных глазах остается низким, чувство вины — высоким. Во-вторых, оценка индивидом ситуации остается высокой, следовательно, низким его чувство страдания. Опять

же, чувство вины остается высоким, и низкой — самооценка. И, повторяем, индивид не имеет никаких шансов на компромисс.

Поставим вопрос: что остается в таких удручающих обстоятельствах делать нашему индивиду, чтобы все же добиться желаемого компромисса и повысить свой этический статус? Логически ясно: он должен пойти на еще большее обострение конфликта, пусть даже ценой еще большего понижения своего этического статуса. Он должен решиться на это с целью навязать в конце концов противнику свою волю (к компромиссу), одержав полную и окончательную победу над ним. Конфликт, таким образом, становится средством компромисса, то есть это путь к резкому улучшению морального самочувствия и этического статуса индивида.

Подобная ситуация выражена в таких общеизвестных высказываниях, как, например, "через тернии к звездам", "хочешь мира — готовься к войне" и т.п. Или вспомним Клаузевица: война — средство политики (а не наоборот). То есть цель войны — победа как средство навязать свою волю побежденному противнику для установления мира путем послевоенных переговоров (на условиях, конечно, победителя).

Согласно модели Лефевра и ее теоретическим предсказаниям, подобный подход к проблеме "войны и мира", конфликта и компромисса является вполне типичным для индивида 1-й этической системы. Именно так он должен вести себя в экстремальной ситуации: он сам обостряет конфликт, чтобы добиться решающей победы во имя последующего прочного мира. У него просто нет другого выхода — он так "запрограммирован".

Подобным образом действовал Дж.Кеннеди во время кубинского кризиса: он сам пошел на обострение, двинув американский флот навстречу советским кораблям. Так действовал и Картер, в ответ на советскую агрессию в Афганистане, наложив эмбарго на американские поставки в СССР и не послав в Москву американскую олимпийскую команду. Так же обходится с Кремлем и Рейган — решительно и жестко, — предварительно объявив на весь мир СССР "империей*

Но такое поведение как раз и доказывает "кровную" принадлежность этих американских президентов к 1-й этической системе. И обратно: их поведение в моменты кризиса являются блестящей иллюстрацией "профетической" силы модели Лефевра, ибо оказывается, что тяга к компромиссу индивидов 1-й этической системы отнюдь не превращает добро в зло. Напротив, в решающий момент, когда исчерпаны все возможности компромисса, она предохраняет добро от зла, сохраняет и даже обостряет их конфронтацию. То есть происходит то, что позитивно, а не негативно оценивается с точки зрения 1-й этической системы.

То же со знаменитым поцелуем Картера, — пример, приводимый Лефевром. Он отнюдь не второстепенный, этот пример, а наоборот, основополагающий. Ибо так, а не иначе, согласно модели, должен вести себя позитивный герой, сильная личность 1-й этической системы. Потому что в данном случае Картер был поставлен в ситуацию — в общем, конечно, конфликтную, ибо конфликт СССР и США постоянен, и Картер это понимал, — но когда еще не было полных моральных оснований объявить оппонента (Брежнева) законченным злодеем — детант, хотя и шел на убыль, но еще продолжался.

И еще один жгучий вопрос — о терроре, о захвате самолетов и о неисчислимых жертвах, которые понесла бы любая страна, любая нация, будучи мишенью интенсивных террористических атак, если бы придерживалась морального императива 1-й этической системы. Ибо согласно этому императиву, необходимо не уничтожать террористов на месте, а вступать с ними в предварительные переговоры — для чего? Для физического пресечения терроризма? Это, как показывает практика, бесполезно, по крайней мере в обозримом будущем. И все же, сказал бы "положительный герой" 1-й этической системы, вступать в переговоры необходимо, — и вывод этот неопровержимо следует из модели Лефевра.

Не для сиюминутной физической победы над террористами необходимо вступать с ними в переговоры, с точки зрения 1-й этической системы, а для моральной победы над собой, для повышения собственного этического

* Так в бумажной версии журнала (Д. Т.)

го статуса, улучшения морального самочувствия, — в конечном счете, для повышения морального уровня всей нации, всего народа, следовательно, и для конечной победы этой нации над терроризмом.

И это не мешает, согласно той же 1-й этической системе, решительной расправе над террористами в каждом отдельном случае, после того как переговоры провалились.

С другой стороны, немедленный выбор насилия в ответ на насилие, без всякой попытки прийти к компромиссу и пресечь насилие без применения насилия, является доказательством приверженности ко 2-й этической системе. О практических последствиях такого подхода лучше и не думать. Вспомним, что случилось в Тбилиси в 1983 году при попытке угона в Турцию советского самолета 6833. Советские власти не церемонились. Хотя девять угонщиков (из них четыре молодых женщины) и не предъявляли ни малейших реальных политических или тем более подрывных требований — они хотели только сбежать на Запад, — самолет был взят штурмом, как говорится, "без лишних разговоров". Погибло как минимум — три пассажира, бортмеханик, стюардесса и один (!) угонщик, — пятеро невинных людей! Сомнительная, мягко выражаясь, цена за "несгибаемую бескомпромиссность", не правда ли?

* * *

И в заключение несколько слов о судьбе ученого в связи с судьбой его детища — созданной им теории. Она живет самостоятельной жизнью, за пределами личных вкусов, предпочтений или интересов ее демиурга. И в то же время она — это он, точнее, его обнаженная интеллектуальная совесть. Вся история науки служит подтверждением этого печального парадокса.

Как говорил Джордж Сантаяна о мыслителе: "Он должен быть молчаливым долгими годами, ибо он наблюдает звезды, которые движутся медленно. Их орбиты возможно, хотя и нелегко предвидеть. И он сокрушает все в своем сердце... до тех пор, пока его жизнь и их тайны не сольются в нем".

А когда сольются, ученый, как поэт, начинает говорить. Он пытается донести до людей то, что родилось и выношено в его сердце, — и только в этом он видит свою цель. Отнюдь не в том, чтобы "вооружить" своей теорией сильных мира сего, — политиков, военных, бюрократов или кого угодно. Это их собственная головная боль, — не забота, не моральный долг ученого. Пример Сахарова это ярко показал!

Ибо в конце концов наука, по слову Дж.Дьюи, — это всего лишь знание. А теория для творца — это превыше всего — теория.

Март, 1985



Валерий ГОЛОВСКОЙ

ЛЕГЕНДЫ О "КРАСНОМ КЕННЕДИ"

Американские советологи о Михаиле Горбачеве

1

В конце января в газете "Новое русское слово" появилось объявление американского писателя, просившего откликнуться тех, кто учился в МГУ в начале 50-х годов. Спустя недели две тот же человек, по имени Том, прояснил свои намерения, призывая помочь в работе над книгой тех, кто знал что-то о Михаиле Горбачеве. Хотя я и не принадлежал к числу "счастливых", я все же позвонил — из простого любопытства. Оказалось, на объявление в газете откликнулась только одна женщина, учившаяся на юрфаке МГУ в те годы, но в глаза не видевшая юного Горбачева. Больше всего меня поразило тот факт, что книга, по словам Томаса Батсона, была на 75 процентов закончена. Мне-то из разговора казалось, что автор только лишь подступает к этой нелегкой теме.

И вот в ту самую неделю, когда Черненко отдал концы, а Горбачев наконец-то пришел к власти, в магазинах Нью-Йорка появилась 170-страничная книжка Батсона в голубой суперобложке с большим портретом автора.*

* Gorbachev. A biography. By Thos G. Butson. Stain and Day, N.Y., 1985.

Томас Батсон — сотрудник отдела международных новостей газеты "Нью-Йорк Таймс", историк по образованию, автор недавно вышедшей книги о маршале Тухачевском. Срочное задание (Горбачев) прервало его работу над следующей книгой — "Советские лидеры после Сталина".

Отдадим Батсону должное — публикация биографии Горбачева побила все рекорды актуальности. Даже издававшие виды американские рецензенты несколько оторопели. Ведь первая книга об Андропове появилась лишь спустя несколько месяцев после его воцарения.

Конечно, богатая событиями жизнь Андропова давала большой простор, и в течение года о нем было подготовлено восемь книг издательствами Америки, Англии и Израиля. Примерно половина принадлежала эмигрантам из СССР и была основана на слухах, домыслах и спекулятивных выводах.

Но если прошлое Андропова позволяло авторам анализировать события, строить — пусть даже на песке — разнообразные концепции, то Горбачев был личностью без биографии, совершенно безвестным на Западе, как, впрочем, и в самом Советском Союзе.

Посмотрим, как же автор справился с этой задачей? Как объяснил многие загадки карьеры "красного Кеннеди" — так назвал Горбачева немецкий журнал "Штерн" сразу после избрания его генеральным секретарем ЦК КПСС (шестым по счету)?

В начале книги приводятся рассуждения о Горбачеве как о новом типе советского лидера. Затем следуют одна за другой главы: "Ставропольское начало", "Стажировка в Москве", "В тени Андропова", "Перерыв под властью Черненко" и, наконец, "Связывая нити воедино".

Для нашего анализа наиболее важна первая глава книги, где автор априорно утверждает, что мы присутствуем при рождении кремлевского руководителя нового типа. Почему? Батсон начинает с двух эпизодов. Когда во время визита Горбачева в Канаду (май 1983 года) ему задали вопрос о советских шпионах в Канаде, "второй генсек" (так называли будущего лидера его партийные коллеги типа главного редактора "Правды" Афанасьева) ответил: "У нас в Средней Азии

говорят так: собака лает, ветер носит, а караван идет вперед". Автор, плохо знающий русский язык и слабо разбирающийся в тонкостях народной мудрости, восторженно заявляет, что так не мог ответить ни Сталин, ни Молотов, ни даже Хрущев (в силу неинтеллигентности последнего).

Для знающего русский язык читателя совершенно ясно, что "интеллигентный" (два диплома) Горбачев просто позволил себе грубость вместо того, чтобы дать конкретный ответ на вполне обоснованный вопрос. Так начинается рождаться легенда об образованном, интеллигентном лидере, представителе "нового поколения". Другим подтверждением перемен автор считает заявление о смерти Устинова, которое именно Горбачев сделал в Англии за час до официального сообщения ТАСС.

Идея первой главы основана прежде всего на двух визитах Горбачева — в Канаду и в Великобританию (декабрь 1984 года). Не буду вспоминать газетные истории о жене Раисе, о восторгах Маргарет Тэтчер и прочие эмоциональные всплески. Но заметим, что выступления Горбачева постоянно трактуются автором как подтверждение высоких качеств советского лидера "нового типа". Он моложе, приятнее в обращении, говорит более грамотно. Батсона мало смущает, что суть речей Горбачева мало отличается от высказываний "геронтократов", что его выступления (в особенности по международным и идеологическим проблемам) напичканы банальной демагогией, унылы и бесцветны.

У нашего автора есть "посыл": "представитель нового поколения", и этот "посыл" он доказывает так. "Горбачев — провозвестник перемен потому, что он представитель нового поколения кремлевских политиков" (с. 19). Батсон, правда, спешит оговориться: "Было бы наивно утверждать, что Горбачев внезапно поддержит свободы и открытые политические дискуссии. Это та область жизни СССР, которая менее всего подвержена переменам" (с. 19). Здесь подкупает использование безличного времени: существует вот такая, сама по себе, неподатливая сфера жизни!

В чем же новизна молодого вождя? Может быть, в том, что

он намерен (!) преобразовать советское сельское хозяйство? Но ведь эта замечательная идея освещала путь всех советских вождей, начиная с истребителя крестьянства — Сталина.

Не могу удержаться, чтобы не привести еще один "милый пассаж" Тома* Батсона, идущий вслед за вышеупомянутыми рассуждениями. "Вопрос о кремлевских политиках, как и их коллег в округе Колумбия и в Вестминстере, — это во многом вопрос поколений. В то время, когда Сталин правил единовластно, с помощью страха, Горбачев и его коллеги действуют коллективно, используя компромисс...". Неплохая аналогия между демократически избираемыми правительствами США и Британии и диктаторским, почти тридцатилетним правлением Сталина или авторитарным восемнадцатилетним правлением Леонида Брежнева

В системе доказательств Тома Батсона важное место занимает возраст Горбачева (он не принимал участие в сталинских чистках, поэтому смотрит вперед, гордясь достижениями страны, ставшей мощной технологической державой) и его образованность. Эта последняя тема особенно занимает автора. Он неоднократно повторяет, что Горбачев "самый образованный и самый интеллигентный советский лидер со времен Ленина" (с. 15). Действительно, Горбачев имеет диплом по агрономии Ставропольского сельхозинститута. Учился он там вечерне-заочно в то время, когда уже занимал видное положение в партийной иерархии края. Не значит ли это, что он мог вообще не посещать занятия и получить диплом? Но даже если он был исправным студентом, то выданный в 1967 году, после пяти лет учебы, диплом вовсе не означал ни культуры, ни образованности, ни серьезных знаний в области агрономии.

Займемся теперь другим свидетельством, которому автор придает более серьезное значение. Этот второй диплом выдал Горбачеву Московский государственный университет, "самое престижное учебное заведение в стране". Но, может быть, автор опирался на свидетельства эмигрантов из СССР, которые учились в одно время с Горбачевым? Фридрих и Лидия Незнанские сообщили, что тракторист из Ставрополя больше интересовался комсомольской работой и выступлени-

*Автор статьи несколько раз называет писателя Том, вместо Томас (Д.Т.)

ями на собраниях, нежели юриспруденцией. Но и при всей своей активности Горбачев не был известен на юрфаке, не говоря уже об университете в целом. Эти "данные" сообщила Батсону женщина, которая училась в том же здании, но на другом факультете и, возможно, встречала будущего генсека в коридорах, хотя точно припомнить не может. (Очевидно, в связи с важностью своего сообщения женщина укрылась под псевдонимом "Ирина"!)

Хотя общая картина, нарисованная людьми, опрошенными автором, довольно неприглядна, Батсон все же не отказывается от идеи о блестяще образованном Горбачеве, несмотря на то, что ни юридические, ни агрономические знания тому в жизни негодились. Он типичный аппаратчик-практик.

Среди нескольких легенд, рассказанных автором, есть и такая, относящаяся к периоду учебы Горбачева. Поскольку Горбачев слыл в студенческие годы комсомольским активистом, а секретарем московского обкома был Капитонов, последний стал ему протектировать. Это предположение, высказанное мельком на стр.31, обрастает подробностями на стр.81, где утверждается, что Капитонов знал Горбачева по его студенческим дням, а теперь как будто помог утвердиться ему в Политбюро. Далее уже просто говорится, что Капитонов был старым другом Горбачева! Что тут можно сказать? Известно, что московский обком партии не имеет никакого отношения к МГУ: если уж кто-то занимается университетом, так горком партии. Московский обком никогда не имел влияния, нынешний его босс В.И.Конотоп находится на задворках власти, а всеми делами вершит Гришин. И еще — Капитонов — преданный слуга Брежнева и Черненко, был лишен влияния в ЦК как только Андропов укрепил свои позиции в 1982 году. Руководить административным отделом и кадровыми вопросами стал Лигачев, человек Андропова. Но не будем слишком строги к Тому Батсону, это не его идея, он просто воспользовался статьей видного советолога Джерри Хофа, к которому мы вернемся ниже.

Автор книги старается убедить нас, что Горбачев добился де больших успехов в руководстве сельским хозяйством —

сначала в Ставрополье, а затем и в Москве. Ставропольские успехи вполне объяснимы — край плодородный: бросай, что называется, семена в землю и не мешай расти. Да к тому же на виду у московского начальства, приезжавшего отдыхать в Кисловодск. Чуть что — Москва поможет. В таких условиях нетрудно заработать репутацию крупного агронома.

В 1978 году, когда Горбачев был введен в партийные верхи, по Москве ходили слухи, что молодой специалист развернул перед стариками из Политбюро комплексный план перестройки сельского хозяйства на основе децентрализации и усиления частной собственности, но был поставлен на место более опытными товарищами. Судя по дальнейшему пути Горбачева, мне эти слухи кажутся очередной легендой, желанием народа увидеть в верхах разумного хозяина. Факты таковы, что именно 1978 год был последним урожайным годом в СССР (240 миллионов тонн зерна), все последующие годы давали катастрофически низкие результаты. Чем же объяснить, что человек, лично отвечающий за сельское хозяйство, крупный специалист в этой области, делал головокружительную карьеру, продолжая разваливать деревню? Ответа на этот вопрос автор книги нам, конечно, не дает. Между тем по некоторым сведениям, Ф.К.Кулаков*, предшественник Горбачева на этом посту, покончил с собой или, по крайней мере, получил инфаркт, в результате неудач на вверенном ему сельхозфронте.

Томас Батсон считает, что Горбачев за шесть лет, проведенных в Москве, сделал очень много для подъема сельского хозяйства. Он был соавтором, если не инициатором продовольственной программы Брежнева. Он проводил, по возможности, усиление частного сектора. Он поддержал так называемый "бригадный метод" на селе. Но крестьяне, наученные годами нестабильности и не имея возможности прокормить скот, отказывались брать скот в личное пользование. "Бригадный метод", по свидетельству компетентных специалистов на Западе, не оправдал себя. А продовольственная программа... Впрочем, эта затея, как пишет автор, была близка к успеху, но... "зловредный" Рейган отменил эмбарго на

* Правильно — Ф.Д. Кулаков (Д.Т.)

продажу американского зерна Москве и... "необходимость срочных перемен отпала, реформы были отменены"! (с.58)

В своем произведении о "Красном Кеннеди" Том Батсон пользуется сведениями, почерпнутыми из шести книг об Андропове, которые он обильно цитирует, — это книги Жореса Медведева, Соловьева и Клепиковой, Земцова и других, а также статья Джерри Хофа "Первый год Андропова" из журнала "Проблемы коммунизма".

Однако роль Горбачева в различных политических событиях так и остается невыясненной. Как он вел себя в период "Солидарности"? Или в дни кризиса, связанного с убийством 269 пассажиров корейского авиалайнера? События эти описываются, а Горбачева в них нет.

Несколько иначе обстоит дело с вторжением СССР в Афганистан. Описав предысторию афгано-русских отношений, начиная с дореволюционных времен, Батсон делает такое заключение: "К декабрю 1979 года у Москвы, кажется, не оставалось никакого другого выхода, как прямая интервенция для стабилизации положения в стратегически важном соседнем районе" (с.52). И далее он сообщает, что решение о вторжении в Афганистан было принято Андроповым, Устиновым и Громыко при участии Горбачева. Черненко, Гришина и Тихонова известили позднее, а остальные члены Политбюро, включая Брежнева, Суслова и Кириленко, были больны. Тут Том Батсон даже не может сослаться на источник. Так что остается загадкой, откуда он взял эту версию. Горбачев, не будучи членом Политбюро, а только кандидатом, отвечающим за сельское хозяйство, вряд ли мог принять участие в голосовании и разделить ответственность за вторжение. Мы не знаем, как было на самом деле. Однако трудно не заметить некой легкости в отношении автора к фактам.

Читатель книги может просто получить шок, когда на страницах, где описывается выбор наследника Брежнева, обнаруживает следующее: "Хотя Горбачев был связан с лагерем Черненко, что проявилось во время заседания и заставило его воздержаться при голосовании, нет сомнения, что он остался со своим другом и патроном, Андроповым"! Но ведь нигде прежде не было сказано и слова о связях Горбаче-

ва с "лагерем Черненко". Впрочем, этот неожиданный пассаж дается со ссылкой на книгу Земцова "Андропов: политические дилеммы и борьба за власть", которая сама по себе является уникальным собранием высосанных из пальца утверждений.

В книге Батсона разбросано немало "золотых россыпей" его собственного производства. "Когда Андропов, строгий, но достойный лидер, пришел к власти, народ искренне приветствовал его" (с. 140). "Советские люди надеялись на улучшение их жизни в связи с предпринятой Андроповым борьбой с коррупцией" (с.58); "Горбачев, родившийся в районе Кавказа, лучше других лидеров относится к нацменьшинствам" (с. 145); "Из его слов можно сделать вывод, что он намеревается идти к более открытой политике в области экономических, если не политических свобод" (с. 141) и т.д. А вот, пожалуй, наиболее полная оценка: "Уверенный, но не спесивый, образованный, агрессивный, сознающий силу своих решений и умеющий быстро их выполнять, человек из Ставрополя — пример новой разновидности советских лидеров" (с.23).

Остается только выяснить, каким образом это ангельское создание сумело впорхнуть в руководящий центр советской "Империи зла"?

Книгу Томаса Батсона можно анализировать и с иной позиции: по тому, чего в ней нет. Например, нет известной речи в Смоленске, где "ангел" показал зубы, обрушившись со стандартным набором обвинений на Рейгана и американскую внешнюю политику.

Батсон много и с удовольствием цитирует канадского министра сельского хозяйства, с которым Горбачев провел неделю, разъезжая по стране. Автор книги взял специальное интервью у министра. Тот рассказал, что Горбачев пьет одну-две рюмки вина, ест три раза в день и много других очаровательных подробностей в том же роде. Но Батсон опустил один действительно занятный эпизод, о котором писала канадская и американская пресса. Собеседник будущего генсека — то ли в шутку, то ли всерьез — заявил Горбачеву, что он надеется, что советский режим будет развиваться в том же

направлении. "Пока вы будете пребывать в нынешнем состоянии, ваше хозяйство будет неэффективным, — продолжал министр, — а для нас — это лучший рынок, какой только можно вообразить". Переводчики, по свидетельству помощника министра, были в шоке, но Горбачев сделал вид, что он просто не расслышал.

Как я уже говорил, Батсон множество раз ссылается на статью профессора Джерри Хофа "Первый год Андропова". Но он почему-то упустил из виду основной тезис этой статьи. Вот что писал Джерри Хоф (ноябрь-декабрь 1983): "Если Андропов умрет в ближайшие несколько месяцев /Андропов последовал совету Хофа в феврале 1984 года. — В.Г./, то будут лишь два кандидата на его место — Михаил Горбачев и Григорий Романов. В действительности, я думаю, что есть только один кандидат. Если бы я играл на скачках, я бы сказал, что Горбачев имеет девять шансов из ста быть выбранным". Джерри Хоф словно в воду смотрел: Андропов умер, а генсеком стал... Черненко, о котором американский советолог вообще не упомянул.

Здесь, мне кажется, пора перейти от книги "неспециалиста" Батсона (как его охарактеризовал недавно "Нью-Йорк Таймс бук ревю") к более общим вопросам, возникающим в связи с темой этой статьи.

2

Последние три года отмечены бурным развитием кремленологии на Западе. Начало было положено знаменитой статьей Джерри Хофа в "Вашингтон Пост" в конце мая 1982 года, когда ученый предсказал появление руководителя "нового типа" — интеллигента, образованного, стремящегося к перестройке советской системы и разумным переговорам с Западом. Легендам о блестящем английском Андропова, о его любви к американской литературе и виски, о его связях с творческой интеллигенцией не было конца.

Второй взрыв (с повторением того же репертуара) возник в связи с избранием Андропова генсеком (ноябрь 1982). Затем оптимизм несколько уменьшился, но поднялась новая

волна надежд после воцарения Горбачева. Он стал признанным фаворитом советологических разработок. Выбор Черненко, казалось, нанес сокрушительный удар по "специалистам-предсказателям". Сказать что-либо доброе о Черненко было весьма сложно. Но и тут не все опустили руки. Например, Дмитрий Симес (Саймес) заявил: "Мы переоценили Андропова, теперь задача заключается в том, чтобы не недооценить Черненко" ("Вашингтон Пост", февраль, 1984).

Здесь можно поставить два вопроса: почему американские специалисты каждый раз подогревают надежды на нового, "светлого" лидера в Кремле и кто именно те люди, которые направляют общественное мнение на Западе?

Стремление видеть по ту сторону "железного занавеса" вождя с человеческим лицом (пусть даже и с партбилетом в кармане) психологически объяснимо. Западные лидеры и общественность, воспитанные на демократических принципах, с большим трудом могут осознать (а тем более примириться) с тем, что на нашей планете существуют правительства, не ведающие о существовании демократических институтов. И не где-то на задворках мира, а в Европе. И не какая-нибудь дикая Эфиопия, а страна, запустившая спутник, создавшая мощное и современное вооружение. Нельзя также сбрасывать со счетов ловкую контрпропаганду Москвы, не гнушающейся ни ложью, ни демагогией, ни "потемкинскими деревнями" — и все для того, чтобы ввести в заблуждение мировое общественное мнение. Надежда на приход разумного и цивилизованного партнера — вот основа постоянных заблуждений Запада по отношению к СССР, начиная со Сталина.

Кто же создает общественное мнение? Кто выдвигает новые концепции, возбуждает надежды или сеет пессимизм? Конечно, специалисты из среды американской администрации. В немалой степени и корреспонденты, пишущие из Москвы. Но прежде всего эксперты-советологи.

В редакциях газет и еженедельников типа "Тайм" или "Ньюзвик" существуют списки экспертов в любых областях политологии. Готовится статья о событиях в Москве — и в ре-

дакции раздаётся некого рода клич: "А ну-ка, джентльмены, прокрутим полезную гадалку!" Нажимается клавиша компьютера, появляются имена экспертов и вот уже дома у них не смолкают звонки. Один мой знакомый профессор-славист чуть ли не со слезами рассказывал, как сотрудник "Тайма" два часа мучил его по телефону, а затем в одной из журнальных статей промелькнула приписываемая ему фраза типа "Советская литература на подъеме"! Это обычная практика: в лучшем случае газета или журнал процитируют эксперта два-три раза по одной фразе, и читателям кажется, что они выражаются исключительно с помощью "золотых мыслей" и афоризмов. Каста экспертов формируется из бывших консультантов правительства или даже лиц, входивших в состав прошлых правительств, из профессоров университетов и нескольких удачливых авторов политологических книг. Существует примерно 15-20 экспертов по советским делам, имена которых мы обнаружим в любой статье на эту тему. Это Джордж Кеннан, Генри Киссинджер, Збигнев Бжезинский, Северин Бялер, Ричард Пайпс, Джерри Хоф, Арнольд Горелик, Маршалл Шульман, Адам Улам и некоторые другие.

В горячие дни, вроде тех, что последовали за смертью Черненко, эти специалисты едва переводят дыхание между звонками. Если телефон в доме такого эксперта молчит, значит, дела его плохи. Само собой разумеется, деятельность экспертов нельзя сводить только к афоризмам в газетно-журнальных репортажах. Их основная сфера деятельности — писание книг и статей, преподавание, общественные лекции и консультации правительственных учреждений.

Попробуем проанализировать одну такую свежую публикацию. Газета "Нью-Йорк Таймс" в номере от 21 марта на самой престижной странице (так называемая op-ed) напечатала две статьи — по замыслу полемические — Аркадия Шевченко и Джерри Хофа. Главная тема — как скоро Горбачев получит реальную власть?

В своей статье "Дадим ему шесть месяцев" профессор Хоф пишет, что Горбачев уже год назад начал консолидировать власть, — факт, подтвержденный его быстрым избранием (это-

му, однако, противоречит выступление Громыко на Пленуме ЦК КПСС, чрезвычайно активно призывавшего членов ЦК голосовать за молодого лидера). Сейчас Политбюро и ЦК будут активно поддерживать Горбачева, чтобы показать Западу наличие в стране сильного лидера. Делее, Хоф в противовес Шевченко, утверждающему, что Громыко еще долго останется полновластным хозяином советской внешней политики, описывает, как Горбачев разделяется с Громыко: внешне поддерживая его линию, Горбачев даст Громыко совершить ряд ошибок и затем оттеснит его от иностранных дел. Теперь, однако, коварный замысел Горбачева стал (с подсказки Хофа) известен министру иностранных дел, и он, возможно, постарается избежать расставленной ему ловушки! Главная задача статьи Хофа — предостеречь администрацию Рейгана от недооценки Горбачева и немедленно пойти на уступки Москве. Таковы взгляды этого крайне либерального советолога-антирейганиста.

Надо сказать, что в хоре американских экспертов на этот раз раздалось немало и здравомыслящих голосов.

12 марта этого года, в день избрания Горбачева генсеком, "Нью-Йорк Таймс" опубликовала подборку высказываний экспертов. Джордж Кеннан — либеральный патриарх советологии, — напомнив о преувеличении роли Черненко, советовал не ждать от нового лидера серьезных перемен, прежде всего в международных отношениях. Консервативный историк из Гарварда Адам Улам считает, что Горбачев предпочтет скорее коллективное руководство, нежели станет единовластным диктатором. Арнольд Горелик из "РЭНД-корпорейшн" придерживается того же мнения: перемены коснутся формы и стиля, но не сути режима. Бывший посол в Москве Томас Уотсон не ждет ничего нового для Запада, объясняя это тем, что "советские люди счастливы". Они критикуют отдельные недостатки, но не намереваются устраивать революцию. Однако общий тон высказываний тем не менее оптимистичен.

Когда к власти пришел Андропов, его называли прагматиком, технократом, реформистом, умным, жестким, современным, западником. Вот, пожалуй, и все. Из статей недав-

него времени (и из книги Томаса Бастона) я выписал следующие характеристики Горбачева: умный — относительно молодой — любезный — здоровый — образованный — профессионально подготовленный — интеллигентный — энергичный — Хорошо информированный — хладнокровный — решительный — вежливый — модный (об одежде) — разумный — прагматичный — умеренный — очаровательный — спокойный — разговорчивый — превосходный тактик... Мы также узнаем, что Горбачев любит классическую музыку, цитирует "Бэлу" Лермонтова, грамотно говорит, задает умные вопросы, умеет слушать (то же самое писали и о Черненко), любит спорт (бокс, хоккей, футбол), много читает, работает шесть дней в неделю с 9-ти до 9-ти, у него хорошая память (как и у Черненко когда-то), он почти не пьет крепкие напитки... Особо не любит Горбачев пустословия в работе. Подчиненных он часто спрашивает: "Вы сами-то верите тому, что говорите?" (по данным журнала "Ньюзвик").

Мои изыскания были гораздо менее успешны в области негативных эпитетов: строгий, жесткий, твердый, опасный — вот, пожалуй, и все, если эти качества можно назвать резко отрицательными.

Итак, налицо очередной медовый месяц западных специалистов и политиков с личностью нового генсека.

Если рассмотреть три основные сферы, в которых будет наиболее заметна роль Горбачева как лидера страны — внутреннюю политику, международные отношения и идеологию, — то во всех трех пока нет признаков грядущих перемен. Намеки на экономические реформы иллюзорны. Идея борьбы с коррупцией себя не оправдала. Она может служить лишь ширмой, прикрывающей подлинные проблемы, создающей видимость стремления властей к улучшению жизни народа. Печальный десятилетний опыт борьбы с коррупцией в Грузии и Азербайджане должен стать хорошим лекарством от излишних иллюзий. В декабре прошлого года Горбачев призвал к возрождению "стахановских традиций", одного из самых позорных явлений потогонной сталинской системы властвования. "Бригадный метод" на заводах и в колхозах — будет про-

ходить экспериментальную проверку еще долгие годы, пока его не умертвят местные бюрократы. Но и сама идея коллективной ответственности и коллективного наказания — плоть от плоти советского режима и не может быть экономически эффективной.

В международной политике у Горбачева нет даже той видимости "нового", как в сфере экономики. Начало советско-американских переговоров на Западе считают заслугой Черненко (вопреки линии Громыко). Насколько это верно — другой вопрос, но роль Горбачева здесь вторична. Наконец, в области идеологии Горбачев не имеет опыта не только Суслова, но даже и Черненко. Нужно быть аппаратчиком до мозга костей, чтобы в Советском Союзе решать идеологические вопросы, подчиненные не столько марксистско-ленинской теории, сколько насущной партийной практике. Некоторые (писатель В.Аксенов, профессор А.Улам) считают, что следует ждать усиления репрессий в области культуры — и потому, что технократ Горбачев далек от вопросов культуры, и потому, что жесткая линия при решении внутренних проблем по традиции связана с зажимом новых идей. С другой стороны, уже появилась первая легенда о "либеральном вожде": якобы именно Горбачев разрешил широкую демонстрацию спорного фильма "Чучело" режиссера Ролана Быкова, затрагивающего острые проблемы детской преступности.

Бесконечное гадание и столь же частые ошибки политологов связаны в первую очередь с отсутствием информации, с закрытостью советского общества. Иллюзии и надежды по-человечески понятны. Но поспешные выводы и рекомендации могут вновь направить демократические правительства по неверному пути и поставить свободный мир перед лицом серьезной опасности.



Соломон ЦИРЮЛЬНИКОВ

ИЗРАИЛЬСКИЙ ТУПИК

Всякое крупное историческое действие есть прыжок в неизвестность. С этим согласятся даже самые крайние ревнители философского детерминизма: историческое творчество — это всегда уравнение со многими неизвестными. Что же касается человеческого разума, то на него вряд ли можно положиться. Еще Тацит писал: "Чем больше я перебираю в голове новые или древние события, тем чаще замечаю во всем какую-то насмешку над делами человеческими".

Государство Израиль приближается к сорокалетию своего существования. Исторически это срок небольшой, но все же достаточный — если взглянуть на него в аспекте "дел человеческих", — чтобы сдвинуть с мертвой точки еврейско-арабскую проблему. Конечно, не все зависит от Израиля. Существует общеарабский и палестинский фактор, но есть что сказать и еврейскому государству. Сделал ли все зависящее от него народ Израиля, чтобы приблизиться к миру? Простая логика говорит, что застой не может быть вечным. Неизбеж-

на новая война, которая будет еще более кровопролитной, чем все предыдущие.

Чего же в этом случае ждать? В каком направлении двигаться? Похоже, существует единственный выход: сесть за стол и договориться, какие бы трудности ни вставали на пути к соглашению. Но не тут-то было. Уроки истории мало кому идут впрок, и "дела человеческие" оказываются менее всего подвластны разуму.

Впрочем, все не так просто. Поистине надо продираться сквозь густой частокोल ошибок, политических нонсенов, а иногда и просто глупостей, чтобы добраться до сути дела, касающейся арабо-еврейского конфликта — конфликта, который и по сей день многим кажется неразрешимым.

1

Само создание еврейского государства в горящем кольце арабской ненависти было прыжком в неизвестность. Кто мог предвидеть будущее, после того как арабы отвергли решение ООН о разделе Палестины на два государства — еврейское и арабское. Это решение, записанное чернилами, арабы открыто грозили смыть кровью. Пусть они отказались от этой угрозы, не в силах ее выполнить, но разве кровь не льется и по сей день, обильно орошая и Святую Землю и многие страны Ближнего Востока?

Маленькое, но собранное воедино полумиллионное население еврейской Палестины, устояло против нашествия арабских государств, которые, казалось, могли "шапками закидать" еврейский ишув.* Такова была воля истории. Но что значит — "воля истории"? Это значит, что комплекс факторов в данный промежуток времени и на данной территории дал перевес еврейской идее. Но сама-то идея оставалась утопией, пока не прошла испытание войной. Государство Израиль выдержало это испытание: еврейская мечта осуществилась.

Однако ошибаются те, кто считает, что все в истории решает голая сила. На стороне евреев была идея, великая идея

* Поселение.

обновления еврейского народа. Я бы сказал так: именно эта идея, давшая Израилю моральное превосходство в борьбе с арабским миром, способствовала и его военным победам на полях сражений. Еврейское государство из мечты превратилось в важный политический фактор, влияющий на события мировой истории. Иначе говоря, в мировом ансамбле государств появилась новая сила. И другим надо было потесниться и предоставить ей место. Неизбежной оказалась новая расстановка сил — и прежде всего на карте Ближнего Востока. Но именно этого нового политического баланса и по сей день не признает арабский мир, лелея идею перечеркнуть свершившийся факт истории.

Есть мечты, которые двигают вперед историю, и есть мечты, тормозящие историческое развитие. Подобным "тормозом" выглядит и арабская мечта стереть с лица земли еврейское государство.

Израиль сохраняет и еще на многие годы сохранит не только военное, но и культурное и технологическое превосходство перед арабским миром. На его стороне одна из двух ведущих сверхдержав, готовая встать на его защиту перед лицом любых превратностей судьбы. Израиль также сохраняет и нравственное превосходство, несмотря на переживаемый им моральный упадок, который объясняется тем, что он (а не арабские государства) находится под вечной угрозой уничтожения, что в течение всей своей истории ему приходится вести борьбу за существование. А что может быть в моральном смысле выше, чем борьба народа за существование?

Арабская сторона в еврейско-арабском конфликте проиграла потому, что поставила не на ту лошадь. Она как бы пошла против истории, выдвинув лозунг: все или ничего.

В результате шанс, предоставленный арабам решением ООН о создании Палестинского государства, был упущен. Большая часть палестинских арабов превратилась в народ беженцев. И все оттого, что арабы хотели перечеркнуть ход событий, следствием чего и стал ряд кровопролитных войн. Даже после Шестидневной войны 1967 года арабская программа, принятая в Хартуме, провозгласила три известных "нет",

— не признавать государство Израиль, не заключать мира, не вести мирных переговоров.

Весь дальнейший ход жизни привел к тому, что эта негативная политика была сдана в архив. Это и был первый поворот арабского мира лицом к истории. Начался диалог о мире и даже о косвенном признании Израиля. Однако по-прежнему на повестке дня стоял вопрос: а не является ли все это лишь маневром, переходом от фронтальной атаки к стратегии осады? То, как арабский мир встретил Египетско-израильское соглашение, явилось еще одним доказательством, насколько тернист путь к миру на Ближнем Востоке. "Фронт отказа", созданный экстремистскими арабскими государствами во главе с Сирией и Ливией, только углубил и обострил противоречия. Воз, что называется, и ныне там... И судно мира остается на мели.

Однако жизнь не стоит на месте, и многое меняется на наших глазах. Исламская революция Хомейни в Иране грозила захлестнуть страны арабского мира, но задержалась из-за войны с Ираком. Война эта принудила Ирак к более умеренной политике по отношению к Израилю и стала своего рода заслоном, ограждающим его от нарастающей опасности со стороны исламского мира.

С другой стороны, война в Ливане (о которой еще будет речь), продолжаясь свыше трех лет, поставила Израиль в тяжелое положение: он выступает в роли агрессивной стороны, несущей большие жертвы, но так и не добившейся своей главной цели — мира с Ливаном. В результате, не солоно хлебавши, Израилю приходится убираться из Ливана. Единственным результатом этой войны стал раскол ООП. Но и это обстоятельство также меняет картину Ближнего Востока.

Ясир Арафат, вождь ООП, был изгнан из Сирии, где вспыхнуло восстание против его "предательства" и была создана конкурирующая организация, зовущая к вооруженной борьбе с Израилем. Куда же теперь податься ООП? К арабскому "Фронту отказа" ей путь отрезан. Пересмотреть программу, требующую уничтожения Израиля, Арафат не решается. А это значит, что и путь к миру для него закрыт. Единственное, что

ему остается, — это искать соглашения с Хусейном. Но, несмотря на то что Арафат прекратил бойкот Египта и пошел на соглашение с королем Иордании, — несмотря на это, он застрял на полпути — между миром и войной. Впрочем, для сохранения лица он продолжает призывать к вооруженной борьбе с Израилем.

В Египте тоже произошли перемены. Сегодняшний Египет уже не тот, что был при Садате. Последний поплатился жизнью за мир с Израилем, а его преемники решили сделать все возможное для того, чтобы вернуть Египет в лоно их арабских братьев.

Так, мир с Израилем превратился в "холодный мир", едва поддерживаемый заявлениями египетских лидеров о их верности Кемп-Девиду. В обмен за мир Израиль возвратил Египту весь Синай, включая нефтеносные районы, и теперь с тревогой наблюдает за развитием событий. О чем говорят все эти сдвиги в арабском мире? В чем их скрытая от внешнего мира тенденция? Приблизился ли еврейско-арабский мир?

2

Сказанное вовсе не свидетельствует о том, что вся правда на стороне Израйля. Утверждать это — означало бы грешить против истины. Специфика еврейско-арабского конфликта в том и состоит, что у каждой из сторон есть своя правда и свое право. Арабы защищают свое право на страну, являющуюся их родиной. Евреи отстаивают свое историческое право возвратиться на землю предков.

Вывод из сказанного прежде всего в том, насколько запутанна ближневосточная ситуация, напоминающая некий театр абсурда. Когда арабы отстаивали негативную политику и на любые предложения евреев отвечали: "нет", они парадоксальным образом помогали Израйлю, избавляя его от необходимости отвечать на "проклятые вопросы". Теперь же, когда евреи поменялись ролями с арабами, предпочитая говорить "нет" вместо "да", они льют воду на мельницу арабов.

Что произошло в отношениях между Египтом и Израилем?

В первую очередь Каир, конечно, хотел получить Синай, обещая взамен на него мир Израйлю. Но нет сомнения, что Египет со своим 40-45-миллионным населением бедствующих феллахов также устал от бесплодных войн, то есть он хотел мира и для себя.

А что из этого получилось? Опять же серия ошибок и нелепостей! Египет прорвал фронт арабской вражды, окружавшей Израиль, и это стало событием исторического значения. Но, заключая мир с Садатом, израильская сторона имела в виду и другую, фундаментальную в ее глазах цель: развязать себе руки на Западном берегу Иордана. И это оказалось явным просчетом. Египет не может быть ни изолирован, ни вырван из арабского мира. Именно поэтому в ответ на неуступчивость Иерусалима в переговорах об автономии для Иудеи и Самарии, он пошел на охлаждение отношений с Израилем. Тем самым и израильско-египетский мир потерял свое значение как модель для других арабских государств. Историческое действие было низведено до уровня будничной дипломатической возни.

Надо сказать, что история вообще сыграла злую шутку с Израилем. В результате победы в Шестидневной войне к нему отошли территории, которые в свое время были предназначены для создания арабского государства в Палестине и в то же время исторически принадлежат к целостному Эрец Исраелю. Таким образом, история поставила Израиль перед выбором: или оставаться верным решению ООН о разделе страны, или это решение опрокинуть ради восстановления национально-исторической справедливости. Выбор был нелегким не только из-за исторических реминисценций. Еще более важными были соображения национальной безопасности, которые толкали Израиль на удержание завоеванных земель. Но разве прочный мир не стоил того, чтобы поступиться захваченными территориями. Разве в этом случае игра не стоила свеч? Вопрос кажется ясным, но опустимся этажом ниже, и перед нами разверзнется бездна: можно ли вообще доверять арабам с их бесконечными угрозами стереть Израиль с лица земли? Не лучше ли ему замкнуться в своей национальной

скорлупе и стать железной стеной против враждебного арабского окружения? Нескончаемые войны сами по себе порождают недоверие к миру. Это и происходит сегодня в Израиле. Именно об этом говорит наращивание сил такой крайней партией, как "Тхия" ("Возрождение"), стоящей даже на более правых позициях, чем "Ликуд" и особенно такое движение, как "Каханизм" (по имени раввина Кахана), открыто призывающее изгнать арабов из Израиля и находящее поддержку в определенных кругах израильской молодежи.

Трудно отрицать, что историческая ситуация, в которой оказался Израиль, трагична: маленький народ, живущий в кольце гигантского и враждебного арабского мира. Но попытка замкнуться в собственной скорлупе, пусть даже в железной скорлупе, есть плод отчаяния. Это голос дьявола. Это тупик, из которого нет выхода.

Ливанская война могла бы стать хорошим уроком для Израиля. Но послужит ли она таким уроком? Страна поставила перед собой широкие стратегические цели: в союзе с ливанскими христианами установить режим, который заключил бы с Израилем мир. Это была первая в истории Израиля война, которую он вел не по необходимости, не ради спасения страны. И потому она не была такой, как прошлые войны, навязанные арабами. Это была война, развязанная по инициативе Израиля.

Верно, что в Южном Ливане образовалось своего рода государство палестинских террористов. Но, во-первых, это "государство" не очень докучало Израилю, а, во-вторых, для его разгрома совсем не требовалось большой войны.

Следует прямо признать, что Ливанская война обернулась историческим несчастьем для Израиля. Это война, в которой он ничего не достиг, понеся большие жертвы.

Главный урок, который следует извлечь из этой войны, состоит в том, что Израиль не в состоянии навязать свою волю арабам. А из этого вытекает другой, далеко идущий вывод, определяющий для всей национальной стратегии Израиля: еврейско-арабский мир, если он вообще достижим, возможен лишь как мир, основанный на компромиссе.

Этот мир должен удовлетворять как евреев, так и арабов. И в то же время как всякий компромисс, он должен умерять их вождения. Но вот тут-то и зарыта собака: в плену амбиций обе стороны — и евреи, и арабы — обращают свой взор не на блага, которые им принесет мир, а на уступки, которые включает в себе всякий компромисс. Дух максимализма витает над еврейско-арабским конфликтом и толкает его в тупик. Это особенно легко проследить на так называемой палестинской проблеме, когда сотни тысяч палестинских беженцев уже десятки лет живут в лагерях, являющихся, естественно, рассадником террора. Почему-то не было сделано никаких согласованных усилий, чтобы создать этим людям нормальные условия жизни, предоставить им жилище и работу. Арабская сторона была заинтересована в сохранении лагерей беженцев, как оружия, направленного против Израиля. Пассивность проявила и еврейская сторона, полагая, по-видимому, что судьба палестинцев вообще ее не касается. Но ведь таким образом увековечивался один из острейших ближневосточных конфликтов.

3

Помимо этого в арабско-израильских отношениях действуют многие непререкаемые табу, запреты, которые ни одна из сторон не может нарушить и потому каждая из них мечется, словно курица в отведенном ей круге. Организация палестинских арабов — ООП — не может решиться на пересмотр своих заявлений об уничтожении государства Израиль как чужеродного еврейского вкрапления на Ближнем Востоке, хотя эти заявления уже давно выглядят как анахронизм. Точно так же Израиль не решается пересмотреть запрет на ведение переговоров с ООП как с террористической организацией, декларирующей уничтожение еврейского государства.

Естественно, угроза уничтожения Израиля со стороны Арафата заставляет многих израильтян занять крайне враждебную позицию в отношении арабов. Но разве в этом заинтересованы палестинцы? Разве сжигание мостов может принести

какую-то пользу? Но разум отступает перед лицом политических неврозов.

Не ищите логики и в поведении Израиля. Возможность переговоров с ООП не принимается в расчет ни при каких обстоятельствах. По этому поводу в стране имеется своего рода национальный консенсус, национальное согласие. Разумеется, Израиль может поставить условием переговоров отказ ООП от декларируемой ею цели — уничтожить еврейское государство, потребовать, чтобы она отказалась от террористической деятельности. Более того, выдвинуть в качестве условия переговоров признание за еврейским государством права на существование, но нельзя отказаться в принципе от самой возможности переговоров.

Попытка израильтян уйти от вопроса разговорами о готовности вести переговоры с другими палестинцами не стоит выеденного яйца, ибо ими же самими запрещена всякая политическая деятельность на контролируемых территориях. Так же исключена сама возможность создания других, в том числе и более умеренных политических течений. Поэтому приходится принимать действительность такой, как она есть и признавать факт, что ООП сегодня фактически единственная политическая организация, представляющая интересы палестинцев. Теперь пришла очередь Израиля считаться с волей истории, или, по крайней мере, с логикой фактов.

Дело Израиля заботиться о своей национальной безопасности, а не стоять против самостоятельности палестинцев, которая может быть реализована как в форме собственного национального образования, так и в рамках федерации с Иорданией. Могут сказать, что существуют противоречия между национальной безопасностью Израиля и национальной самостоятельностью палестинцев. На это есть только один ответ: взаимное признание интересов и нужд обоих народов. Национальная безопасность Израиля должна быть подкреплена твердыми гарантиями, включающими соглашение о границах, о размещении вооруженных сил, о переходном периоде, рассчитанном на определенное количество лет.

Более того, можно полагать, что Израиль заинтересован в

прямом участии представителей ОПП (а не подставных фигур) в тройственных переговорах: Израиль — Иордания — палестинцы, ибо только в этом случае договоренность может быть полной.

Другим крупным вопросом, на который также наложено табу, является созыв международной конференции при участии двух мировых сверхдержав — США и СССР — для обсуждения ближневосточного конфликта. Израиль боится такой конференции пуще огня. Почему же? Вероятно, потому, что Советский Союз занимает одностороннюю проарабскую позицию. Но согласимся и с тем, что Советы признают право Израиля на существование и не поддерживают арабских экстремистов, требующих уничтожения Израиля. Характерно, что в конфликте, разгоревшемся внутри ООП, Советский Союз не встал на сторону крайних просирийских элементов, а продолжал оказывать поддержку Арафату, несмотря на его договор с Хусейном, который в свою очередь вступил в соглашение с Египтом.

По-видимому, заинтересованность СССР в улучшении советско-американских отношений заставит его проявить большую умеренность и в ближневосточном конфликте. С другой стороны, каждому здравомыслящему человеку ясно, что сегодня без участия СССР не может быть достигнут устойчивый мир на Ближнем Востоке. Разумеется, Израиль вправе требовать восстановления с Советским Союзом дипломатических отношений в качестве предварительного условия такой конференции. Но и здесь безоговорочное "вето" выглядит лишь как тормоз на пути к миру.

Всему этому не приходится удивляться, если исходить из того, что национальная стратегия Израиля — это стратегия мира, что его центральной задачей является постоянное и последовательное сведение на нет арабской враждебности, что путь к миру — это длительный процесс, состоящий из ряда этапов, через которые невозможно перескочить. Однако фактически в политической жизни Израиля сталкиваются две стратегические линии: одна — "железной стены", другая — линия мира. "Железная стена" — это увековечение конфликта, мир — это

последовательное достижение еврейской независимости в семье народов Ближнего Востока. Созданием еврейского государства была решена только половина задачи. Другая половина — это укоренение этого государства в живом организме народов Ближнего Востока. Только такая стратегия способна обеспечить будущее Израиля, чтобы на сей раз возвращение еврейского народа на землю его предков было навеки веков.

4

Разгоревшиеся сегодня споры в израильском обществе вызваны новой мирной инициативой Египта. Опираясь на соглашение, заключенное между королем Иордании Хусейном и Ясиром Арафатом, Египет предлагает созвать тройственную конференцию: Иордания — ООП — Израиль, чтобы дать толчок мирному процессу. Причем считаясь с отрицательной позицией Израиля в отношении Организации Освобождения Палестины, Каир предлагает не прямое, а косвенное участие ООП в переговорах, — в общей с Иорданией делегацией.

Нужно отдать должное главе израильского правительства Шимону Пересу, который в принципе одобрил египетскую инициативу и выразил готовность рассмотреть все ее аспекты. Советники президента Египта Мубарака побывали в Израиле, а специальные посланцы израильского правительства — в Каире.

Однако Ближний Восток есть Ближний Восток. Это район, где возможны настолько быстрые перемены, что трудно предсказать, какова будет ситуация даже в момент выхода этого журнала, не то что в далеком будущем. Во всяком случае, сейчас сложно определить, в какой мере можно рассчитывать на претворение египетской инициативы в жизнь. Из палестинского лагеря доносятся самые противоречивые отклики, следуют заявления, отвергающие египетскую инициативу. Неясна позиция Иордании. Да и в самом правительстве Израиля, опирающемся, как известно, на коалицию рабочей партии и "Ликуда", проявляется двойственное отношение к инициативе

Египта. Образно говоря, израильский кабинет говорит в два голоса.

Глава правительства одобряет инициативу Египта, а министры, представляющие Ликуд, ее решительно отвергают. Так, один из ведущих министров "Ликуда" заявил, что египетскую инициативу надо рассматривать как западню; другой подозревает, что вся эта инициатива представляет собой не что иное, как пропагандистский маневр. На грани истерии были выступления группы поселенцев на Западном берегу Иордана, один из которых драматически заявил: "Нас не удалят живыми из Иудеи и Самарии. Я это говорю, как человек, имеющий счастливую семью. Мы не вправе сдаваться и — в случае необходимости — должны покончить с собой".

Поселенцы из правореligиозного движения "Гуш Эмуним" ("Союз верности") опасаются — и в этом они правы, — что всякое соглашение с Иорданией будет означать территориальные уступки. Но ведь всякое соглашение — это компромисс, а компромисс немыслим без уступок. Я говорю об этом лишь для того, чтобы показать, какие внутренние трудности ждут Израиль на его пути к миру.

Самая большая из них — это скрытая от глаз, но на самом деле мощная коалиция между экстремистскими силами в арабском и еврейском мире. Крайности, как известно, сходятся. Рыцари отказа, представляющие два враждебных полюса в среде обоих народов, сходятся в одном — в стремлении ошельмовать мирный процесс, якобы угрожающий будущим национальным интересам и арабов и евреев. Экстремисты и того и другого лагеря уже успели поднять "гевалт" по поводу египетской инициативы, стремясь свести ее на нет, еще раньше, чем стороны попытались ее осуществить. Между тем исторический опыт еще в прошлом показал, какие несчастья принесла политика "отказа" палестинскому народу и какие шансы на мир — частичный или всеобщий, упустил Израиль из-за недостаточной гибкости своей политики.

Могут спросить: почему Египет выступил со своей инициативой именно теперь? Есть два обстоятельства, обусловивших этот шаг. Во-первых, приход к израильскому руководству ли-

дера Рабочей партии Шимона Переса. В основе внешнеполитической программы этой партии — достижение еврейско-арабского компромисса. Менее чем через два года место главы кабинета займет один из лидеров "Ликуда" Ицхак Шамир, и тогда поздно будет говорить о достижении какого-то согласия. Второй фактор — это раскол ООП, заставивший Арафата искать политические пути урегулирования, поскольку декларируемый еще недавно террор доказал свою бесплодность.

Египетская инициатива — это серьезное испытание для ООП — Арафат должен будет признать резолюцию Совета Безопасности № 242, он вынужден будет согласиться войти в общую делегацию с Иорданией, где его представители как бы даже не будут иметь своего лица. Наконец, ему предстоит дать согласие на прямые переговоры с Израилем, то есть сесть с ним за общий стол и искать совместно пути к миру. Окажется ли он способен на такой крутой поворот?

Будем смотреть правде в глаза: египетская инициатива переживает лишь начальную стадию. Экзамен на политическую зрелость стран и правительств, вступающих в переговоры, еще впереди. Основным объектом будущих переговоров — если они состоятся — будет судьба завоеванных территорий, реализация прав палестинского народа и, конечно же, будущая безопасность Израиля. У этих переговоров будет много аспектов, но две их стороны представляются особенно важными. Во-первых, эти переговоры будут прямыми, без всяких предварительных условий и, во-вторых, общая иордано-палестинская делегация (лишь с косвенным участием ООП) облегчит Израилю занять положительную позицию.

Не надо думать, что египетская инициатива родилась из ничего, она была подготовлена рядом событий. В первую очередь отметим, что это — запоздалый плод израильско-египетского соглашения о мире. Египет, будучи самым крупным арабским государством, не может оставаться изолированным в арабском мире. Он стремится собрать вокруг себя все умеренные государства и движения арабского мира и этим утвердить свою доминирующую в нем роль.

Вторым фактором, подготовившим египетскую инициати-

ву, стало возобновление отношений между Египтом и Иорданией. Это прорвало фронт арабского бойкота по отношению к Каиру, заключившему мирный договор с Израилем. Наконец, третьим фактором стало соглашение Хусейн—Арафат, которое, несмотря на расплывчатость и туманность его формулировок, присоединяет ООП к умеренным арабским силам, выступающим против экстремистски настроенных Сирии, Ливана и крайних палестинских элементов. Если бы Бог осенил Израиль дальнорукостью, то он не мог бы в этом не увидеть возможной консолидации арабского фронта умеренности.

Время — конечно, нейтральный фактор, но если присмотреться пристальней к современной геополитике, то станет ясно, что время, отпущенное историей евреям и арабам, истекает. Дело в том, что наряду с умеренной политикой в арабском мире набирает силу мусульманско-фундаменталистская тенденция, вдохновляемая хомейнистским Ираном и смыкающаяся с экстремистскими силами Сирии и Ливии. Сегодня ни одно из арабских государств, включая Саудовскую Аравию, Иорданию, да и сам Египет, не может считать себя застрахованным от волны радикального мусульманского фундаментализма. Политическая ситуация в Израиле, развивающаяся под знаком партийного дуализма, "Ликуда" и Рабочей партии, также не может считаться устойчивой — в общем, мир тут не придет сам собой: "улитка едет, когда-то будет"...

И лишь переговоры оставляют шанс для оптимизма. Можно даже надеяться, что и Советский Союз изменит свою позицию (если опекаемая им ООП присоединится к переговорам) и пойдет на возобновление дипломатических отношений с Израилем и даже начнет снова выпускать евреев. Не слишком ли это оптимистический вариант? Кто знает? Будем оставаться осторожными оптимистами.

Одна из тенденций, набирающих силу в арабском мире, — это тенденция к миру с Израилем. Первая "смена вех" произошла, когда арабы были вынуждены отступить от бескомпро-

миссной программы Хартума, отказывающей Израилю в праве на существование.

Новый поворот произошел, когда Садат приехал в Иерусалим, и Египет прорвал фронт тотальной враждебности к Израилю. Третьим этапом на этом пути стал фактический развал "фронта отказа", от которого откололись Ирак, Алжир и, конечно, Иордания. Теперь настал решающий час: как совершить прыжок в ледяную воду прямых переговоров? Достиг ли мирный процесс стадии необходимой зрелости?

На этот вопрос трудно дать однозначный ответ. ООП колеблется между двумя возможностями, и это колебание снова может задержать мирный процесс. А Иордания вряд ли решится на какой-либо шаг без согласия палестинцев.

Умеренные круги Израиля, у которых не кружится голова ни от успехов, ни от отчаяния, возлагают надежды на мир с Иорданией и готовы ей возвратить большую часть земель в Иудее и Самарии. Не являются ли эти надежды иллюзией? А что, если Иордания, зажата в тиски между Сирией и палестинцами, не найдет в себе сил, чтобы сделать решающий выбор?

Но если Израиль достигнет соглашения с Египтом о всеобщем еврейско-арабском мире, то, надо полагать, что со временем такой мир станет реальностью. Ось Израиль — Египет должна стать осью мира на Ближнем Востоке.

Больше всего трудностей на пути к соглашению следует ждать со стороны ООП. Ее позиция, которую можно охарактеризовать — "ни мир, ни война", — ставит под сомнение перспективы, открываемые египетской инициативой. Слишком многое говорит о том, что палестинский фактор, представленный в лице ООП, в своей промежуточной позиции может затормозить мирный процесс всерьез и надолго. У организации Арафата нет достаточно сил, чтобы превратить свой террор в успешное орудие борьбы против Израиля, но все же этот террор достаточно эффективен, чтобы держать в узде общественное мнение на контролируемых территориях.

Более умеренные палестинские элементы не могут поднять голову. А израильтяне, что называется, по глупости содействуют этому процессу оттеснения умеренных, поскольку за-

прещают на землях Западного Берега всякую политическую деятельность.

Приходится высказать горькую истину: пока палестинцы будут надеяться на уничтожение Израиля и пока Израиль будет стремиться поставить палестинцев на колени, — мир на Ближнем Востоке не перестанет быть иллюзией. Ситуацию могут изменить великие державы. Но когда это будет?

Итак, пока что неизменным остается израильско-арабский тупик. Мир стучится в ворота — и еврейские и арабские. Но откроют ли их евреи и арабы? И когда? На эти вопросы у нас нет ответа.



В 1978 году заместитель Генерального секретаря ООН Аркадий Шевченко попросил политическое убежище в Соединенных Штатах Америки. Недавно на английском языке вышла в свет его книга "Разрыв с Москвой". Предлагаем вниманию читателей главу из этой книги, раскрывающую самый драматический момент в истории побега Аркадия Шевченко.

Аркадий ШЕВЧЕНКО

КОНЕЦ ИГРЫ

Глава из книги "Разрыв с Москвой"

В тот воскресный день, сидя в ожидании в своем ооновском кабинете, я старался читать какие-то материалы, лежавшие у меня на столе, но сосредоточиться не мог. Американцы много раз заверяли меня, что утечек не было, но разве они могут быть уверены в этом на все сто процентов? Вашингтон кишит болтунами, которые болтают о чем попало. Может, меня случайно кто-нибудь выдал? А может, я чем-то скомпрометировал себя? Наконец, может, я слишком высокомерно держался с партийными занудами или с кагебешниками? В коротком разговоре в пятницу вечером Трояновский ничем не выказал ни тревоги, ни недоверия, но он просто мог ничего не знать: не в обычаях сотрудников КГБ сообщать послу о своих подозрениях.

Если и в самом деле все кончено, если игра доиграна до конца, что я могу сделать, чтобы сохранить семью? И я снова думал о том, как удержать Лину, как вызволить из Москвы Анну.* У меня в руках только один козырь: пост заместителя

* Лина — жена А.Шевченко; Анна — его дочь.

Генерального секретаря ООН и двухгодичный контракт, формально обязывающий ООН сохранять за мной мое место, независимо от желаний Совета. Смогу ли я обменять мой пост на дочь и тихо уйти в отставку?

Глядя на Ист Ривер и следя за тем, как отражается в ней здание ООН, уходя куда-то в Квинс, я думал о том, что вот и пришел момент, которого я ждал и боялся, пришел и... застиг меня врасплох.

В таком состоянии смятения я и отправился к себе на квартиру, чуть не забыв позвонить своему шоферу Никитину и попросить его забрать Лину из Глен-Коув,* потом поспешно прошел к лифтам, через гараж, к зданию в глубине.

В квартире ЦРУ меня ждали Боб и Карл, встревоженные и немного раздраженные: в конце концов, они люди семейные и наверняка предпочли бы провести воскресенье дома, среди домашних, чем возиться со мной. Но когда я рассказал им, что случилось, они восприняли дело серьезно.

Я повторил текст телеграммы и объяснил, что он означает.

— Думаю, что все кончено. Я не могу больше ждать, — сказал я. — Мне придется сказать, что я не могу приехать немедленно, потому что Вальдхайм сейчас отсутствует и я готовлю специальную сессию — у меня полно работы. Но даже если Москва согласится на отсрочку, это даст нам в лучшем случае всего несколько недель. Мне нужно официальное согласие вашего правительства принять меня.

Возражений не было. В марте Боб уговаривал меня подождать до конца специальной сессии ООН. Теперь он даже не пытался успокоить меня или убедить в том, как я им был полезен. Они согласились действовать сразу же. Мы назначили следующую встречу на вечер понедельника, и я сказал, что постараюсь позвонить и подтвердить время. Больше говорить было не о чем.

Когда Лина, нагруженная сумками, приехала из Глен Коув, я мимоходом упомянул, что собираюсь в Москву на консультации. Эта новость обрадовала ее, и я изо всех сил старался поддержать ее хорошее настроение. Мы вместе обсудили, ка-

* Глен-Коув — дача советских представителей в Нью-Йорке.

** Сотрудники американской разведки

кие подарки я отвезу родным и знакомым. Лина радовалась возможности купить за бесценок вещи в Нью-Йорке, чтобы потом втридорога продать их в Москве. Я соглашался со всеми ее планами, хотя и знал, что никогда больше не увижу Москву и, быть может, никогда больше не буду вместе с Линой... или Анной... или Геннадием.* Меня вновь охватили смешанные чувства — неуверенности, любви, сомнений. Я с трудом боролся с ними, понимая, что пути назад нет. И все же где-то в глубине души еще ждал чего-то, какого-то чуда, которое вдруг возродит мои юношеские мечты, веру в мою страну, в идеалы, за которыми я когда-то шел. Я не чувствовал себя предателем. Советский режим обманул свой народ, в том числе и меня. Но если я подчинюсь распоряжениям и отправлюсь в Москву, со мной все будет кончено.

Спал я плохо, но наутро, по пути в Миссию, полностью овладел собой. Я сказал Олегу Трояновскому, что, поскольку у меня сейчас очень много работы в ООН, я хочу попросить министра иностранных дел отложить мой отъезд в Москву хотя бы на пару недель. Я объяснил ему, что все свое время сейчас отдаю работе подготовительной комиссии.

— Думаю, что мне нужно остаться здесь до окончания работы комиссии. Кроме того, как я объясню Вальдхайму, почему вдруг мне пришлось уехать?

— Я бы вам не советовал тянуть, — ответил Трояновский. — Это не мое дело, но когда Центр присылает такой запрос, лучше ехать не мешкая.

Голос его показался мне странным: что это было — совет или предостережение? Но что бы ни было, а я решил, что не могу пропустить его слова мимо ушей.

— В любом случае я не могу сорваться с места сию минуту, — ответил я. — У меня завал работы, но я скажу помощникам Вальдхайма, что тяжело заболела моя теща. Я дам в Москву телеграмму, что лечу в воскресенье.

Трояновский был явно недоволен: он рассчитывал, что я полечу в четверг, но настаивать не мог — это вызвало бы вопросы, на которые он вряд ли пожелал бы ответить. Поэтому он просто пожал плечами:

* Геннадий — сын А.Шевченко.

— Как хотите. Но обязательно известите Центр.

Я послал телеграмму и отдал распоряжения насчет отъезда, затем отправился на утреннее заседание подготовительной комиссии и занял свое место рядом с председателем Карлосом де Росасом. Де Росас, немолодой аргентинский дипломат, которого я любил и уважал, бросил мне какое-то язвительное замечание по поводу последнего заседания комиссии, но тут же, заметив, что я не в себе, спросил:

— Что-нибудь случилось?

— Не знаю, — ответил я. — Вроде бы заболела моя теща в Москве. Может случиться, что мне придется туда поехать.

Де Росас выразил сочувствие. Началась последняя фаза обмана.

После утреннего совещания я пригласил давнишнего приятеля, который был членом советской делегации, в "Золотой дракон" — китайский ресторан на Второй авеню.

Мы говорили на профессиональные темы: о работе подготовительной комиссии, о бесконечных интригах в Министерстве иностранных дел. Наконец, я коснулся темы "консультаций" в Москве, о которых, как я знал, он прекрасно осведомлен. Я не сказал, что меня отзывают домой.

— Что новенького в Центре насчет комиссии? — спросил я. — Там что-нибудь затевается?

— Абсолютно ничего, — ответил он не задумываясь. — Со всем наоборот. Я получил на прошлой неделе письмо, чтобы я даже не посылал туда отчета, пока комиссия не кончит работу. Хозяева не хотят, чтобы их дергали, они уже приняли решение.

— Так ты думаешь, мне не нужно туда ехать, чтобы связать концы с концами?

— Абсолютно ни к чему. Даже не высовывайся с этим. Они решат, что тебе просто хочется разведать обстановку в Москве.

Так я и думал: вызов в Москву был обманом. После ленча я позвонил из ресторана американцам и подтвердил время нашей встречи. Когда мы увиделись, я попросил назначить мой побег на четверг — это всего через три дня, но зато у наших будет меньше времени для того, чтобы меня остановить.

Боб согласился. Они могут устроить все к четвергу, и я воспринял его слова как косвенное подтверждение того официального согласия, которого добивался. Чтобы не встречаться лишний раз до четверга, мы сразу обсудили план моего побега.

Вечером в четверг я задержусь допоздна в ООН, ненадолго зайду домой и, как только Лина уснет и я смогу незаметно уйти, встречу с ними. Они будут ждать меня в четырехдверном белом "седане". Машина остановится на углу Шестидесят третьей улицы и Третьей авеню, я увижу ее из окна.

Вокруг моего дома будут поставлены наблюдатели — если они заметят что-нибудь необычное, малейшие признаки появления агентов КГБ, — сигнальные огни машины начнут мигать. Тогда мне не следует подходить к ней. В этом случае я должен сделать вид, будто вышел прогуляться перед сном, дойти до Третьей авеню, зайти в бар, чтобы позвонить оттуда и условиться со следующей группой, которая должна будет меня подобрать.

План был прост и выглядел вполне реально, но он не решал тех вопросов, которые неизбежно встанут в связи с моим переходом к американцам: проблемы с Линой, с ООН, судьбы моей остальной семьи, моего будущего. Американцы разработали пока лишь план побега, их профессионализм и спокойствие вселяли в меня уверенность, однако ответов на эти вопросы я не находил.

Я старался скрыть свое волнение, но мне это плохо удавалось, было трудно сосредоточиться на деталях, которые мы обсуждали, все мои мысли были с женой и дочерью. Что я скажу Лине? Она человек вспыльчивый и часто взрывается, не желая слушать объяснений. Уговаривать ее бежать — значило вызвать бурю: во-первых, она никогда не согласится на это, оставив Анну в Москве; во-вторых, она понятия не имеет, что я работаю с правительством США. Я боялся открыть ей всю правду и столько раз откладывал этот тяжелый разговор — ведь в глубине души я был уверен, что она воспротивится побегу, притом с такой страстью, что хоть и невольно, но своим протестом поставит крест на всякой возможности об-

рести свободу. В гневе и смятении она может дойти до того, что позвонит в Миссию и попросит КГБ забрать нас. Тогда моя жизнь кончена. Я постараюсь объяснить Лине, что ни ей, ни детям от моей смерти не будет никакого проку, но тем не менее я сомневался в успешности такого разговора. Вновь, как вначале, я почувствовал себя в ловушке и снова пришел к выводу, что единственно правильным будет поставить Лину перед свершившимся фактом, ничего не обсуждая с ней. Сотни и сотни раз я проигрывал мысленно эту ситуацию — и все это было каким-то кошмаром.

Я постарался сосредоточиться на письме, которое собирался оставить Лине в ночь моего побега. Я также оставляю ей порядочную сумму наличными, на тот случай, если у нее возникнет необходимость в деньгах, прежде чем я смогу связаться с ней по телефону. На банковском счету у меня лежала солидная сумма накоплений от моей ооновской зарплаты, которую я не отдал Советской Миссии.

Теперь, оглядываясь назад и вспоминая всю эту нерво-трепку, я никак не могу взять в толк, как это я исхитрился не выдать Лине и другим свое состояние. Всякий раз, входя в Миссию, я думал о том, что, может, уже не выйду отсюда. В каждом разговоре с Линой я ловил себя на том, что решающие слова вот-вот сорвутся с языка. Всякий раз, садясь в машину, я боялся, что найду там агентов КГБ.

Единственным спасением были транквилизаторы. Я пристрастился к ним после скандала с Подщеколдиным.* Наглотавшись таблеток я в полусонном состоянии кое-как справлялся со своими служебными обязанностями. Во вторник утром я должен был представить Генеральному секретарю заявление о совещании по апартеиду. Мои подчиненные подготовили проект, но после поверхностного просмотра текста главным помощником Вальдхайма я прочитал четыре страницы и тут же начисто их забыл.

Пока я был на работе и занимался показушными приготовлениями к поездке в Москву, время как-то тянулось. Лина, между тем, с увлечением покупала подарки для родных и друзей. Она тоже хотела поехать в Москву, но я сказал ей, что

* Сотрудник КГБ, парторг.

моя поездка будет очень недолгой и за ее билет нам придется платить самим, а лето уже не за горами, и тогда мы вместе отправимся в отпуск. Я снял с банковского счета изрядную сумму, которую намеревался оставить Лине, положил деньги в сейф в моем кабинете, разобрал все личные бумаги, которые держал здесь.

Наконец пришел четверг. К концу дня я позвонил Лине, чтобы она обедала без меня: я задержусь. Потом, когда все ушли, я приступил к последним приготовлениям — собрал личные досье и сунул их в портфель, туда же положил и фотографии со своего письменного стола и полки — Анна, моментальный снимок Лины и Лидии Громыко, сделанный в Советской Миссии поляроидом, который я подарил министру иностранных дел, Курт Вальдхайм и я в его кабинете, Вальдхайм и я за столом с Брежневым и Громыко в Кремле.

Я остановился. Мой портфель безудержно разбухал. В висках стучала кровь. Что если я действительно стал параноиком? Что если все это напряжение двойной жизни, которую я вел, заманило меня в собственноручно подготовленную ловушку? Может быть, меня вовсе никто не подозревает? Может, я неправ и они просто озабочены моим здоровьем и именно поэтому вызывали меня домой? Может быть, их беспокоит не моя лояльность, но мои нервы?

Эти минуты нерешительности были мучительны, но они быстро прошли. Я уже ответил на все эти вопросы, я уже ответил на самый главный вопрос в письме к Лине... письмо к Лине... его надо перечитать и, наверное, переписать.

Я вынул из сейфа конверт и перечитал знакомые слова. Письмо показалось мне неубедительным. Пришлось засесть за него снова. Я писал: "Я в отчаянии. Я не могу жить и работать с людьми, которых ненавижу, ни в Нью-Йорке, ни в Москве". Далее шла речь о том, как развивались события в последние месяцы, как рос конфликт между мной и Подщекольным по партийным делам, как меня подвергали травле Дроздов* и КГБ.

Я писал, что собираюсь попросить политическое убежище в США, но не сказал, что работаю с американцами, хотя и упо-

мянул, что располагаю точными сведениями, что мой вызов в Москву — западня. Я писал, что уверен, что нам никогда не разрешили бы поехать за границу и что, скорее всего, меня уволили бы из министерства. "Пожалуйста, — молил я, — уйдем вместе. Здесь нам будет намного лучше, я землю буду рыть, чтобы выцарапать Аннушку из СССР. Мы можем начать новую свободную жизнь в стране, где людей не преследуют и они ничего не боятся". Я заклинал ее верить мне — ведь я никогда ее не подводил. Я убеждал, что возвращение в СССР будет опасно, может, даже смертельно для нас обоих. Обещал все объяснить при встрече и умолял не торопиться, хотя и понимал, что ее это письмо очень огорчит. Особенно я просил Лину не звонить в Миссию и не ходить туда, я позвоню ей рано утром, узнать, что она решила.

Я отложил в отчаянии ручку. Обладай я большим красноречием, даже будь я Цицероном, все равно вряд ли мои аргументы вернут мне жену. Когда мы были бедны, боролись за существование, жили в этой ужасной коммунальной квартире, с маленьким Геннадием, который без конца болел и плакал по ночам, — вот тогда мы и были по-настоящему счастливы. Уже многие годы я был целиком поглощен своей работой, и мы отдалились друг от друга. Лина всю жизнь была одержима моей карьерой, желанием, чтобы я пробился на самый верх. Неужели этот мой успех все испортил? Или жажда Линой богатства, власти, обеспеченности? А может быть, просто годы, возраст...

Как бы то ни было, я выбиваю у нее из-под ног опору. Она меня никогда не простит и, скорее всего, не отважится на авантюру, не решится начать со мной новую жизнь в Америке. Я написал правду, поскольку не мог сказать ей все сам. По крайней мере, если она решит оставить меня, письмо будет доказательством, что она не была моей сообщницей, так что в Москве смогут оставить ее и детей в покое.

Я сложил письмо, сунул его вместе с деньгами в новый конверт, положил в портфель, взглянул на часы: почти полночь. Пора...

Позвонив в Миссию и попросив, чтобы за мной заехал мой

* Дроздов — резидент КГБ в Нью-Йорке.

шофер, я старался уловить в голосе дежурного офицера настороженность, фальшивую ноту — но он, как всегда, был сух и сдержан. Машину пришлют немедленно. Минут через десять Никитин позвонил мне снизу, от стола дежурного у входа в Секретариат: нужен ли он мне наверху? Нет, я сейчас спущусь.

Никитин распахнул передо мной заднюю дверцу черного "олдсмобиля" и сел за руль с обычным "доброй вечер". Обыкновенно мы с ним любили болтать — о Миссии, о Нью-Йорке, но последние несколько недель он был непривычно сдержан. Я знал, что он меня любит, благодарен мне за то, что я помог ему остаться в Америке на третий срок, но сейчас — возможно, он чувствовал, что со мной что-то неладно.

Никитин вывел машину на почти пустую Первую авеню, и мы поехали на север. Сначала я сидел неподвижно, потом начал смотреть в окна, наблюдая за немногими машинами. Мне показалось, что одна из них увязалась за нами, когда мы отъехали от ООН. Пока мы пересекали Сороковые и Пятидесятые улицы, эта машина следовала за нами. Я нервничал. Смогу ли я добраться до Боба и Карла? Меня, может, уже поджидают в моей квартире. Стоит ли возвращаться домой?

Но когда Никитин свернул налево, на Шестидесятые, машина, которая будто бы следовала за нами, продолжала путь по Первой авеню. Я облегченно вздохнул. Мы остановились у моего дома, и Никитин помог мне выйти из машины.

— Завтра заведи меня, пожалуйста, в обычное время, — последние слова я произнес подчеркнуто громко. — Спокойной ночи.

— Спокойной ночи, Аркадий Николаевич, — сказал он. — До свидания.

— До свидания, Анатолий, — ответил я, хотя знал, что нам больше не придется встретиться.

Как я и надеялся, Лина уже спала. Но мне надо было поторапливаться. Я взял в шкафу дорожную сумку, сунул туда несколько рубашек, белье и носки. Все это я делал, стараясь не шуметь: если Лина проснется, она заснет не скоро.

Что еще мне нужно? В голове было пусто. Я тщетно пытался сосредоточиться. Существует единственная реальная альтер-

натива — или меня обнаружат, или я спасусь. Я жил минутой, двигаясь, как в трансе. Меня поддерживала не способность рационально мыслить, а нервная энергия.

На цыпочках я подошел к спальне. Дверь была закрыта неплотно, и я в последний раз взглянул на спящую жену, просунул конверт и вышел.

И тут страшная мысль остановила меня, служебный лифт не работает после двенадцати ночи. А обычным лифтом я тоже не могу воспользоваться без риска столкнуться с кем-нибудь из советских, живущих в этом же доме. Поди тогда объясняй, зачем я несу эти сумки, куда направляюсь посреди ночи...

Эта часть плана не была проработана с Бобом и Карлом. Несколько мгновений я стоял в нерешительности, потом вспомнил о пожарной лестнице в конце коридора. Там двадцать пролетов, но спуститься все же можно. Лестница выходила на первый этаж в задней части дома, так что меня не заметит ночной дежурный, сидящий у входа.

Взяв сумку и портфель в одну руку, я открыл дверь на лестницу. Она была плохо освещена, бетонные ступени чернели в темноте, металлические поручни скользили под потной ладонью. Я вынужден был остановиться. Сжатые пальцы ломило. Портфель бил меня по коленям, я спотыкался. После пятого пролета я вынужден был передохнуть. Я шел бесшумно, маленькими шажками, почти крался, и мышцы лодыжек дрожали от непривычного напряжения. Сердце, казалось, вот-вот выпрыгнет из груди.

Пока я добрался до первого этажа, мне пришлось дважды делать передышку. Наконец, я осторожно открыл тяжелую дверь, огляделся — никого, спустился на несколько ступенек к служебному входу и вышел в узкий проход, ведущий на Шестидесят четвертую улицу. Меня била дрожь, на улице было холодно, и свободной рукой я плотнее запахнул плащ. Оказавшись на тротуаре, я посмотрел налево: на другой стороне Шестидесят четвертой стоял белый автомобиль с потушенными сигнальными огнями. Все в порядке.

До машины было всего метров пятьдесят, но это расстоя-

ние показалось мне и огромным, и опасным. В темном подъезде мог стоять агент КГБ, не видимый ни мне, ни американцам. Этот агент, получивший приказ задержать меня, наверняка имел при себе нож или пистолет. Что если американцы обнаружили опасность, но ждут моего появления, чтобы зажечь сигнальные огни? Как я с портфелем и сумкой могу сделать вид, будто вышел прогуляться?

Весь план показался мне вдруг совершенно нереальным, и я побежал. Я промчался по Шестьдесят четвертой, едва взглянув на пустой отрезок Третьей авеню, прежде чем пересечь ее на пути к машине и безопасности. В тот момент, когда я добежал до машины, Боб уже стоял на тротуаре, открыв мне заднюю дверь. Он взял мои вещи, сунул их на переднее сиденье, протиснулся в машину рядом со мной и приказал:

— Поехали.

По другую сторону от меня сидел Карл. Мы молчали, пока шофер развернулся и начал кружной путь через центр Манхэттена к Линкольн-туннелю. Улицы были почти пусты, но напряжение, которое я чувствовал часом раньше, уходя из ООН, возвращалось ко мне всякий раз, когда сзади появлялись огни какой-нибудь машины. Боб и Карл тоже были не в своей тарелке, и только когда мы въехали в Нью-Джерси, я нарушил молчание:

— Куда мы едем?

— В Пенсильванию. У нас есть безопасное место в Поконос, в двух часах от города.

Больше мы не разговаривали. Мои друзья нервничали, я был измочален до последней степени, и, пока мы мчались в темноте, впал в полную прострацию. Голова была свинцовой, я слишком устал, чтобы расслабиться и почувствовать себя в безопасности.

* * *

Было, верно, около трех ночи, когда мы съехав с шоссе на боковую дорогу, наконец остановились у тяжелых ворот, которые быстро распахнулись, пропуская нас. Шины шуршали на посыпанной гравием дороге. Мы приблизились к большому

кирпичному дому. На первом этаже горел свет. Боб и Карл познакомили меня с людьми, находившимися в доме, вероятно охранниками; их имена я не запомнил.

— Ваша комната наверху, — сказал один из них.

Я поднялся наверх, зашел в ванную. Вернувшись в гостиную, я увидел на столе блюдо с бутербродами.

— Завтра у нас полно дел, — заметил Карл. — Сейчас вам надо отдохнуть.

Я взял бутерброд и направился к себе в комнату. В коридоре, возле моей двери, приземистый человек восточного типа ставил раскладушку.

— Я буду здесь, — улыбнулся он. — Так просто, на всякий случай.

Его присутствие не рассеяло моих страхов: что же, выходит, этот безопасный дом вовсе не так безопасен? Впрочем, я слишком устал, чтобы задавать вопросы. А нервы были в таком состоянии, что и заснуть я не мог. После привычного нью-йоркского шума загородная ночь казалась подозрительно тихой, каждый звук был слышен отчетливо и гулко, и всякий раз у меня сжимало сердце от ужаса. Я принял несколько успокаивающих таблеток, — но ничего не помогало.

Смогу ли я отныне вообще чувствовать себя где-нибудь в безопасности? Неужели КГБ уже прекратил погоню? Нет, если он ее начал, то его ничто не остановит. Внутренний голос возражал: не психуй, ты свободен. Свободен!

Ладно, свободен, но что с того? Я восхищаюсь Америкой, люблю ее, но ведь я понимаю, что приспособиться к здешней жизни будет нелегко, и пройдет немало времени, прежде чем я устроюсь, обзаведусь друзьями.

И вообще — где я найду друзей? В Нью-Йорк — прямо в объятия КГБ — я вернуться не могу. Но ведь Нью-Йорк мой единственный дом в Америке. Где я осяду, если мне придется распрощаться с ним? К кому я пойду, если Лина откажется присоединиться ко мне, если Анну задержат в Москве?

Когда за окном забрезжил рассвет, стало ясно, что пытаться заснуть бесполезно. Я встал, умылся, оделся и спустился

вниз. Ночью приехал Берт Джонсон,* и даже просто видеть его лицо было для меня счастьем. Я вдруг осознал, как полагался на его неизменное спокойствие, как мне не хватало его в эти последние сумасшедшие дни.

Хотя солнце только что встало, все в доме были уже на ногах. Может, не мне одному не спалось в ту ночь... За кофе мы начали обсуждать, что делать дальше.

Первый шаг не терпел отлагательств: чтобы предупредить обвинения советской стороны, будто американцы вынудили меня к побегу, я должен был продемонстрировать как-то свою добрую волю, например, приехав в какой-нибудь городок, зарегистрироваться в гостинице под своим именем, взять на свое имя машину. Мои друзья не предлагали мне оставаться в гостинице. Они просто хотели, чтобы были реальные доказательства того, что я действую по доброй воле.

В город ехать было слишком рано, и я предложил прогуляться. Сквозь молодую листву деревьев просвечивало солнце. Все дышало спокойствием и тишиной, и я понемногу рассеялся. Впервые пришло ощущение, что я действительно свободен. Это чувство радовало и будоражило меня, словно я избавился от тяжкого, давившего на плечи груза. Джонсон нарушил молчание:

— Вы уверены, что не хотите просто исчезнуть? Это было бы легче и избавило бы нас от массы осложнений.

Я знал, что Берт, как и другие работники его ведомства, привык к перебежчикам, которые предпочитают скрываться, стремятся получить деньги, защиту, новое имя и безопасность. Но я хотел другого — независимости и возможности сказать все, что знаю. Мой ответ прозвучал довольно резко.

— Послушайте, но я ведь с самого начала все сказал, и своего решения я не изменил, — и чтобы смягчить резкость этих слов, полушутливо добавил. — Вам следует уважать мои желания: ведь пока что я как-никак заместитель Генерального секретаря.

Я улыбался, однако то, что я говорил было правдой — мой

* Джонсон — сотрудник ЦРУ, с которым Шевченко был постоянно связан.

пост давал мне возможность оказывать давление и на моих соотечественников, и на американцев. Я все еще надеялся, что это поможет мне вызволить семью или, по крайней мере, получить гарантии ее безопасности.

Так, разговаривая, мы дошли до главных ворот ограды, окружавшей здание.

— Давайте выйдем, — предложил я. — Хочется осмотреться.

Сопровождавшие меня обменялись быстрыми взглядами, потом, пожав плечами, открыли ворота. На горизонте, до самого леса, бесконечно тянулись невспаханные поля; пейзаж был спокойный, ясный. Я вновь ощутил пьянящее чувство свободы, чувство, от которого я хотел скакать, как мальчишка. Но, пройдя несколько сот метров, я заметил, что американцам как-то не по себе. Боб, идущий впереди, остановился и повернул назад.

— Я думаю, надо возвращаться, — сказал он.

— Почему? — удивился я. — Что-нибудь не в порядке?

— Да нет, все вроде бы в порядке, но осторожность никогда не мешает. — Он нерешительно помолчал, потом заговорил снова: — Энди, наступила решающая фаза. Если гебешники уже знают, что вы от них ушли, они с ума сходят. Дроздов прекрасно понимает, что ему никогда не простят вашего побега. Они сейчас на все готовы, лишь бы вернуть вас или просто заполучить в любом виде. Они-то думают, что вы для нас человек свеженький, что вы с нами всего несколько часов и ничего еще толком не рассказали. Поэтому они будут стараться остановить вас, пока не поздно.

Мы были уже возле дома. В разговор вмешался Карл:

— А вы сами что думаете? Вы их лучше знаете, чем мы. Будут ли они за вами охотиться, сколько времени они на это намерены потратить? Неужели вы действительно думаете, что сможете жить открыто?

Ну вот, снова-здорово. Меня это уже просто злило.

— Да, я их знаю. Я знаю, что они делали и на что они способны.

Я думал о Льве Троцком, который якобы был в безопасности в Мексике, о полуполюгендарном агенте НКВД Льве Ма-

невиче, который организовывал в довоенной Европе похищения и убийства советских перебежчиков, об убийстве Вальтера Кривицкого, о других исчезновениях и таинственных смертях.

— Я говорил вам, что вначале мне понадобится защита, но я не хочу, чтобы меня охраняли вечно. В конечном итоге самое безопасное для меня — быть общественной фигурой. Конечно, я боюсь. Но чем больше я буду замечен, тем вероятнее, что если со мной что-нибудь случится, то все поймут, что это дело рук Советов. Они, разумеется, могут мне отомстить, но тогда они дорого за это и заплатят. Я хочу жить по-человечески. Я не собираюсь делать пластическую операцию или скрываться. Это все равно не поможет. Если они найдут меня в моем убежище через десять лет и прикончат, то все будет шито-крыто. А я хочу, чтобы это им дорого обошлось. — Какая-то страшная подавленность вдруг накатила на меня. — Кроме того, — продолжал я, — вести подпольный образ жизни — значит поменять одну тюрьму на другую. Тогда уж лучше мне вернуться в Москву и провести остаток дней, сидя в собственном садике и читая романы.

На самом деле я знал, что это не слишком реально: в моей стране никто бы не понял такого поступка. Отказаться от такого положения и привилегий? Да меня сочли бы сумасшедшим и вполне могли бы заточить в психушку!

— Я вам очень благодарен, — прибавил я после некоторого молчания. — Я понимаю все опасности и знаю, что сегодняшним днем они не исчерпаны. Мне нужна защита, и я буду делать все, что, по вашему мнению, необходимо для моей безопасности.

Точки над *i* были расставлены, и это вконец вымотало меня. Джонсон взглянул на часы — он решил, что пора приступать к первому самостоятельному шагу моей свободной жизни.

Мы сели в машину и, проехав пять-шесть миль по узкой проселочной дороге, оказались в курортном городке Байт Хевен. В гостинице "Ховард Джонсон" я заполнил регистрационный бланк, получил от равнодушного клерка ключ от

комнаты на втором этаже и оставил там свой "багаж". Затем я быстренько взял в аренду машину и, таким образом, дважды зафиксировав свое имя, заявил о себе как о свободном человеке. Проехав на арендованной машине несколько кварталов, я вручил ключи от нее одному из моих сопровождающих и вместе с Бобом, Карлом и Бертом поехал назад.

По дороге Джонсон начал объяснять мне еще одну сложность: пока я остаюсь заместителем Генерального секретаря, Вашингтон не может формально предоставить мне политическое убежище, поскольку, будучи международным служащим, я не могу быть принят в США как беженец.

— Вы действительно намерены попробовать остаться в ООН?

— Я не собираюсь скрываться, как преступник, — ответил я. — Мой пост — единственное средство помочь моей семье. Кроме того, для независимой жизни мне понадобятся деньги от ООН. А самое главное — я хочу загнать советских в угол, хочу заставить их понять, что устав ООН и правила относительно ее штата — это не просто формальность, с которой в зависимости от обстоятельств можно либо считаться, либо не считаться. Я хочу, чтобы они почувствовали, что эти устав и правила — реальность. Мне хотелось бы посмотреть, как они будут юлить теперь.

— Это мы понимаем, — ответил Джонсон. — Но они заставят Вальдхайма подчиниться и уволить вас. Как бы он вас ни любил, он не станет рисковать отношениями со сверхдержавой ради одного человека.

Джонсон был прав, но я намеревался сыграть эту партию до конца.

— Ну что ж, это Америка, — сказал Карл, — и в такой ситуации любой американец пошел бы к юристу. Вам наверняка понадобится юрист для переговоров с ООН, но и для другого он тоже пригодится. Мы не можем быть вашими посредниками ни в переговорах с Москвой, ни даже с американским правительством. Вам будут нужны собственные средства коммуникации. Если хотите, у меня дома есть адреса и телефоны пары юристов в Нью-Йорке.

Вернувшись в дом, я составил список дел на это утро. Позвонить Лине. Позвонить в ООН, чтобы мой кабинет опечатали и сказать помощникам Вальдхайма, что я ненадолго взял отпуск. Написать советским — объяснить причины моего разрыва с ними и выдвинуть требования относительно семьи. Позвонить юристу.

Около 8.30 я позвонил дежурному офицеру безопасности в ООН и сказал, что заболел и несколько дней не буду выходить на работу. Он согласился опечатать мой кабинет — обычная процедура в ООН. В приемной Вальдхайма я дозвонился его личному помощнику Фердинанду Майрхоферу, австрийскому дипломату, с которым мы были приятели.

— Я неважно себя чувствую, и врач посоветовал мне отдохнуть дня два. Знаю, что сейчас неподходящее время, но делать нечего.

— Что-нибудь серьезное? — спросил он.

— Да нет! Но придется посидеть дома. Я извещу вас письменно, чтобы вы могли сообщить Вальдхайму.

— Хорошо, — сказал Майрхофер. — Он еще не звонил из Европы, но я буду говорить с ним сегодня, и, наверное, не раз.

— Разрешите мне позвонить вам позже, когда я смогу еще кое-что сказать.

— Еще кое-что? Что вы имеете в виду?

— Да так. Я вам перезвоню.

Около девяти я позвонил Лине. Мне надо было услышать ее голос, и вместе с тем меня страшил возможный оборот нашего разговора. С одной стороны, я надеялся, что она уже прочла мое письмо и ждет звонка. С другой — надеялся, что она еще спит и телефон в спальне отключен. Тогда разговор сам собой отложится, а мне хорошо бы быть спокойным, убедительным, мягким.

Я не был подготовлен к тому, что случилось. Трубку сняли после первого же гудка.

— Да? — спросил по-русски мужской голос.

— Лина? — Я ничего не понимал.

— Ее нет дома, — голос был незнакомый. Это даже не шофер Никитин.

Я бросил трубку, словно она обожгла мне руку. Я мог только догадываться о том, что случилось. В голову приходили все возможные варианты. Наверное, она проснулась рано, прочла мое письмо и перепугалась, позвонила кому-нибудь в Миссию. Они взяли ее туда, а в квартире оставили работника КГБ. Она поступила, как овечка, бегущая за спасением к волку. И теперь я уже никак не могу помочь ей.

Я был зол и на нее, и на себя. Надо было рискнуть и довериться ей. Почему я не придумал ничего лучшего? Почему не попросил ребят из ЦРУ покараулить ее? Почему она не дождала моего звонка?

Словно пробуждаясь от тяжелого сна, я заставил себя взглянуть в лицо действительности. Сколько бы я ни злился, это ничего не изменит. Не стоит утешать себя, что я смогу ее вернуть. Вероятно, мне даже не удастся поговорить с ней. И Анну я вряд ли когда-нибудь увижу, потому что Лина не сможет и, скорее всего, не захочет помогать мне.

Относительно моих перспектив в ООН американцы правы. Рано или поздно — и скорее раньше, чем позже, — я буду отрезан от работы, которая составляла всю мою жизнь. Я уже разлучен со своей семьей. Исчезновение Лины оборвало последнюю нить. Я получил свободу, но в тот момент она не стоила для меня и ломаного гроша. В состоянии полной прострации я смотрел на телефон.

Джонсон заметил мое отчаяние. Его не слишком удивило, что Лина ушла в Миссию или ее туда увезли. Из наших разговоров он понял, что мое письмо было просто попыткой с негодными средствами — она вероятнее всего предпочтет остаться на той стороне. Реакция Джонсона немного успокоила меня, и я был вынужден признать, что ожидал примерно того же.

И все же у меня оставались обязанности перед семьей. Я сел за письмо, намереваясь вступить в борьбу за ее безопасность. Я мог действовать только с позиции силы и только на высшем уровне — письмо было обращено непосредственно к Леониду Брежневу. Я собирался написать, что выхожу из партии, но, пока работаю в ООН, сохраняю советское гражданство. Я откажусь выполнять распоряжения Москвы, но буду

настаивать — ради дальнейших переговоров, — чтобы меня оставили на посту заместителя Генерального секретаря ООН. Моим посредником будет Трояновский.

В доме были машинки с английским и русским шрифтом, но я решил написать письма от руки. Первое было адресовано Брежневу. Сухим, официальным языком я писал:

"Предательство идеалов Октябрьской революции, которое сейчас имеет место в СССР, и чудовищные нарушения прав человека со стороны КГБ вынудили меня принять решение отказаться от членства в КПСС, о чем я желаю официально известить Вас этим письмом.

Я также сообщаю Вам, что в мои намерения не входит отказываться от поста заместителя Генерального секретаря, пока не будут разрешены определенные вопросы, связанные с моей семьей. Я пишу об этом в специальной записке, которую прилагаю. Я буду ждать официального ответа от Советской Миссии при ООН на эту тему".

В приложении я изъявлял готовность с согласия Вальдхайма тихо уйти в отставку, но при условии, что получу письменную и заверенную печатями гарантию безопасности моей семьи "от репрессивных мер любого вида" и прав моей жены сохранить квартиру и дачу и получать от меня регулярные выплаты в твердой валюте для нее и детей. Я подчеркнул, что правила ООН запрещают какому бы то ни было правительству давать инструкции сотруднику Секретариата, но обещал "не устраивать шума", если Советы дадут мне письменное обещание, что с моей семьей все будет в порядке.

В записке Трояновскому я просил его передать письмо Брежневу вместе с моим официальным отказом вернуться в Москву по приказу. Я снова подтверждал, что "категорически отказываюсь подчиняться каким бы то ни было инструкциям, исходящим из Советской Миссии", и сообщал о том, что намерен просить Генерального секретаря предоставить мне отпуск на "неопределенное время". В этот период я буду поддерживать "необходимый и постоянный контакт" с персоналом Вальдхайма.

Наконец, я написал записку Вальдхайму по-английски с

просьбой помочь мне получить гарантии от Советов, чтобы я мог спокойно уйти из Секретариата. "В настоящее время я прошу вас предоставить мне отпуск, чтобы я мог отдохнуть и подумать", — заключил я.

Сочиняя за столом, в углу гостиной, эти послания, я был почти уверен, что американцы будут заглядывать мне через плечо либо подсказывать, что писать. Однако я ошибся. Они не обращали на меня никакого внимания. Затем я попросил проверить с точки зрения грамматики мое письмо Курту Вальдхайму и точно перевести на английский две записки, написанные мной по-русски: я хотел приложить их к письму Вальдхайму. Хотя Советы позже обвинили меня в том, что я подписался под шаблонными фразами ЦРУ, я все писал сам. Примерно к полудню я покончил с этими делами и спросил Джонсона, не может ли он передать письма.

Он покачал головой:

— Нет, мы не можем действовать в качестве ваших посредников ни с Советами, ни с ООН. Для этого-то как раз и нужен вам юрист, — для сохранения вашей независимости.

Карл протянул мне список.

— Мы связались с юристами, они знают, кто вы и готовы вам помочь.

На листе бумаги были всего четыре имени, одно сразу бросилось мне в глаза — Эрнест Гросс, бывший представитель США в ООН. Я воскликнул:

— Я знаю Гросса. То есть я его никогда не видел, но много лет назад я изучал его книги по международному праву. Что он сейчас делает?

Карл сказал, что Гросс адвокат корпорации, в Нью-Йорке у него обширная практика. — Помолчав, он добавил, — Гросс работает на Уолл-Стрит.

— Замечательно! Это значит, что на него можно положиться, — заметил я шутливо. — На Советы это произведет впечатление. Я ему сейчас позвоню.

Берт предложил сделать иначе: поскольку было время ленча, то, по их мнению, мне хорошо бы было поесть в ресторане моей гостиницы и позвонить из моего номера Гроссу и Майрхоферу.

На арендованной мной машине мы поехали в город, в гостиницу. Боб пошел в ресторан занять столик, Берт, Карл и я поднялись в номер.

Эрнест Гросс с готовностью отозвался на мою просьбу. Он одобрил мое решение сделать ставку на мой пост в Организации Объединенных Наций и сказал, что использует свой опыт работы в ООН, а также опыт прошлых переговоров с СССР. Он согласился передать мои письма в советскую Миссию, и Джонсон пообещал, что они будут сегодня же доставлены на Уолл-Стрит. К концу разговора мы уже называли друг друга по именам. Гросс был готов приступить к изучению правил ООН, которые можно было бы применить в моем случае. Теплота и решительность его тона приободрили меня.

Разговор с Фердинандом Майрхофером был далеко не таким спокойным. Я прочитал ему письма. Он несколько секунд молчал, затем забросал меня вопросами:

— А вы-то как, Аркадий? Где вы? С вами ничего не случилось?

— Фердинанд, — ответил я, — со мной все в порядке, я в безопасном месте и буду регулярно звонить вам.

Я также сказал ему, что меня будет представлять Эрнест Гросс. Уже кладя трубку, я услышал, как Майрхофер воскликнул: "О Боже, это будет что-то!.."

Нетрудно было догадаться, что он имеет в виду советское давление на Вальдхайма.

В ресторане мы прекрасно провели время. Берт предложил тост за мой побег, мою свободу и будущее. Я выпил за моих защитников.

— По расчетам Майрхофера, — сказал я, — Вальдхайм вернется в Нью-Йорк дней через десять, не раньше, а я не собираюсь уходить из ООН, не поговорив с ним. Так что, похоже, мы все это время будем связаны.

Вернувшись домой, мои телохранители выдали мне компьютер под названием "Борис", играющий в шахматы. Первые две партии я проиграл, третью — ухитрился выиграть.

Затем Боб спросил, не хочу ли я немного поработать. Я с радостью согласился. Компьютер мне поднадоел. Боб хотел

вместе со мной закончить изучение ежегодного отчета Добрынина в Министерстве иностранных дел. Мы обсудили главные пункты, оценку Добрыниным состояния советско-американских отношений, политической ситуации в Америке, военное положение и другие вопросы. У американцев не было времени сделать из записок полный отчет. Я обещал просмотреть их наброски и помочь составить доклад. Там недоставало множества деталей. Я уже написал около трех страниц, когда позвонил Эрнест Гросс.

Советы требовали, чтобы американское правительство устроило их представителям встречу со мной в следующий уик-энд. Американцы, в свою очередь, утверждали, что никак не связаны со мной и отсылали их к моему юристу. Что я намерен делать?

Меньше всего мне хотелось бы встречаться с советскими представителями. Но это было необходимо. Гросс сказал, что пока я остаюсь советским гражданином, представители моего правительства имеют право убедиться, что со мной все в порядке, что меня никто ни к чему не принуждает. Мой отказ от такой встречи поставит американское правительство в трудное положение. Кроме того, встреча может дать шанс что-то узнать о Лине, обсудить гарантии, которые я хочу получить относительно моих детей.

Я согласился.

— Но, — сказал я Гроссу, — объясните им, что я все еще заместитель Генерального секретаря. Это не предмет обсуждения между ними и американцами. Они обязаны это обсудить со мной, и если необходима встреча, то я согласен встретиться только с Трояновским — чтобы больше никого не было — ни кагебешников, ни консулов.

— Они с ума сойдут от негодования, — предсказал Гросс.

— Это мое твердое решение, — ответил я. — Или я встречаюсь с послом, или вообще никакой встречи.

Джонсон одобрил мои условия, он, так же как и Гросс, считал, что встречи все равно не избежать.

— Но нам нужно время для подготовки, — добавил он, имея в виду мою безопасность во время встречи, которая будет происходить на территории, открытой для агентов КГБ.

Я позвонил Гроссу и передал ему слова Джонсона, и мы решили встретиться с ним до моего свидания с советскими представителями: в субботу я приеду к нему в Нью-Йорк.

Перспектива встречи с советской стороной беспокоила меня, я не мог сосредоточиться на отчете, который делал для Боба. Чтобы отвлечься, я предложил приготовить обед — борщ, самое трудоемкое блюдо. Занявшись стряпней, я несколько успокоился, а когда борщ закипел, предложил сыграть в карты, пообещав научить моих новых друзей преферансу — любимой моей игре. Мы сели за карты с выпивкой и закусками, и играли до тех пор, пока борщ не был готов.

Некоторые из сидевших за столом довольно смутно представляли себе, кто я. Они забрасывали меня вопросами о Советском Союзе, о мотивах моего побега, моих планах. Наконец, один из них затронул вопрос, который в тот день возникал передо мной уже дважды: о моем настоящем желании жить в Америке ни от кого не скрываясь. Я ответил так же, как раньше.

— Но неужели вы не боитесь? — настойчиво допытывался один из агентов. — Одно дело, когда перебежчик — артист, который продолжает работать в театре, и совсем другое — политический деятель. Такого еще не было.

— Ну, конечно, я боюсь. Надо быть сумасшедшим, чтобы не бояться, — сказал я. — Но вы ведь, ребята, специалисты. Есть какие-нибудь доказательства, что заплочных дел мастера из КГБ орудуют в Штатах? Кого-нибудь из советских перебежчиков в последнее время прикончили?

— Нет, никого, но они ведь скрываются.

— Вот именно. А я не собираюсь до конца своих дней жить, как кролик, в норе, в аризонской пустыне.

— Хорошо, Энди, — вмешался Боб. — Это все понятно, мы с тобой. Но вот ты оказался один, и тут в любой момент может появиться агент КГБ. Что ты сделаешь, если вот сейчас в дверь войдет Дроздов с пистолетом?

Я ответил с беспечностью, которой на самом деле не чувствовал.

— Постараюсь убить его первым.

Боб расхохотался и, взяв у охранника пистолет, протянул его мне:

— Держи! Мы тебя не оставим, если, конечно, не умрем с голоду. Где же твоя похлебка, черт подери?

Напряжение было снято. Борщ всем понравился. После обеда я отправился спать. Рядом с моей комнатой, в коридоре, вновь была расставлена раскладушка.

Перед сном я попробовал было почитать одну из приготовленных для меня книг — "22 июня 1941" Александра Некрича — рассказ о том, как Сталин "подготовил" Красную армию к нападению Гитлера. Книга была опубликована в Союзе в 1965 году, но ее быстро запретили, и я так и не сумел ее прочесть. Теперь же мне было не до чтения: я думал о встрече с Трояновским и долго ворочался, прежде чем уснул.

Во сне меня охватил страх, которого я якобы не испытывал. Я — совершенно один. В комнату входит Дроздов с пистолетом, я тянусь за своим — его нет.

Проснувшись в холодном поту, я всю оставшуюся ночь спокойно ворочался и, поняв, что все равно не усну, встал. В доме было тихо. Я придвинул к окну стул и стал смотреть, как занимается весенний рассвет.

* * *

В субботу утром я позвонил домой Фердинанду Майрхоферу. Он уже говорил с Вальдхаймом. Сначала тот был потрясен моим побегом к американцам, но со свойственной ему осторожностью отказался обсуждать эти вопросы по международному телефону. Майрхофер сказал также, что в начале недели будет сделано какое-то заявление ООН, но пока не готов даже предварительный текст.

— Я не могу вам его диктовать, Фердинанд, — сказал я. — Но хочу, чтобы было понятно, что я попросил лишь временный отпуск и пока остаюсь заместителем Генерального секретаря.

Майрхофер обещал передать Вальдхайму мои пожелания.

На этот раз по дороге в Нью-Йорк я уже был в состоянии смотреть из окна на пейзажи Пенсильвании и Нью-Джерси, но

увидел немного: Джонсон попросил меня сесть на заднее сиденье огромной машины, где окна были плотно зашторены. Перед полуднем мы с Джонсоном приехали в дом Эрнеста Гросса, в его уютную квартиру на Ист-Сайд. Он и его жена встретили нас тепло и гостеприимно. Из морозильника была даже извлечена бутылка русской водки. Мы выпили за наше сотрудничество. Немного поболтав, перешли к делу. Гросс сказал, что Советы оказывают сильное давление, хотят устроить встречу как можно скорее — им не нравится, что Трояновский увидится со мной с глазу на глаз.

— Они даже собственному послу не доверяют, — сказал я, тут же поняв, что за дилемма стоит перед ними. — Но ничего, они что-нибудь изобретут.

Мы стали думать, где устроить встречу. Советская Миссия исключается. Воспользоваться американской Миссией — значит подтвердить советские утверждения, что меня контролирует американское правительство. Устроить встречу в ООН — очень сложно, и по политическим причинам, и с точки зрения моей безопасности: мои охранники из ФБР и ЦРУ не смогут сопровождать меня. Квартира Гросса — очень уж неофициальное место для такой встречи. В конце концов мы оставили выбор на офисе Гросса на Уолл-Стрит.

Джонсон одобрил это решение и предложил назначить встречу на воскресный вечер, когда здание и окружающие улицы будут пусты. Он настаивал также, чтобы Гросс дал советским представителям лишь минимум информации о наших планах.

— Раз они согласны на наши условия, — все, что мы должны сделать, это сообщить, что встреча состоится в 8 часов вечера в воскресенье. Адрес скажем позже.

Потом мы с Гроссом поговорили о моем статусе в ООН. Он отыскал правило, по которому Генеральный секретарь обладал властью уволить своего подчиненного, вроде меня, "в исключительных обстоятельствах". Тем не менее Вальдхайму придется выполнить целый ряд обязательств, оговоренных в контракте.

— Жалко Курта, — сказал я. — Советы устроят ему настоя-

щий ад. Но это принципиальный вопрос, и ему придется уважать правила. В противном случае персонал может возмутиться тем, что какая-то страна руководит им.

Устав ООН предусматривает, что персонал ООН "не требует и не получает инструкций ни от какого правительства". Все члены ООН обязаны признавать международный статус Генерального секретаря и его заместителей. Я с некоторым злорадством подумал о том, что, пытаясь вынудить меня уйти с моего поста, Москва продемонстрирует всему миру, как мало она уважает свои обязанности, оговоренные Уставом.

Но я не собирался надолго осложнять положение Вальдхайма и сказал Гроссу, что могу согласиться уйти в отставку на определенных условиях. Пока, однако, мы не будем выступать с этим предложением. Прежде всего следует исчерпать все возможности, чтобы получить гарантии для моей семьи.

В качестве первого шага Гросс обсудит с шефом персонального отдела ООН вопрос о деньгах, которые мне причитаются по моему контракту. Я с удовольствием узнал, что он знаком с Джорджем Давидсоном, с которым ему придется иметь дело. Давидсон, канадский дипломат и мой коллега по работе, тоже заместитель Генерального секретаря, наверняка не будет толкать его на неприемлемые условия.

Наконец, мы с Гроссом обсудили, что он будет говорить, как только о моем переходе станет известно прессе. Тут важно было сделать акценты на том, о чем я говорил и Майрхоферу — я остаюсь на посту заместителя Генерального секретаря. Если будет задан вопрос о возможной встрече с советскими представителями, Гросс подтвердит, что такая встреча состоится, но не станет распространяться о моих мотивах или планах.

Мы расстались друзьями. Я понял, что мне повезло. Не было ни малейших сомнений в его компетентности и заинтересованности в деле, а энтузиазм Гросса вселил в меня бодрость и доверие к нему.

Вскоре я прошел медицинский осмотр, организованный ЦРУ: врач нашел, что мое давление несколько повышено, но

ничего опасного нет. По всем остальным медицинским показателям — все было в полном порядке.

В воскресенье Гросс сообщил, что Советы все еще настаивают на участии во встрече нескольких человек, но по их поведению он понял, что они все-таки в конце концов примут наши условия. Кроме Трояновского, во встрече будет принимать участие также Анатолий Добрынин. Я не возражал против Добрынина, а также против присутствия в качестве наблюдателя чиновника Госдепартамента.

В отличие от Гросса, который, казалось, получал удовольствие от всего предстоящего, я боялся конфронтации, понимая, что Трояновский и Добрынин попробуют сыграть на нашем многолетнем знакомстве и на моих самых сокровенных чувствах.

Скорее я бы предпочел нормальные дипломатические переговоры. Этим я занимался всю жизнь. Но здесь было совсем другое: ставки были личными, не политическими. Когда в игру вступают чувства, с этим труднее справиться.

Вечером в воскресенье в нашем дворе выстроилась целая кавалькада машин. Джонсон подвел меня к длинному лимузину. До этого мы пользовались обычными "седанами". Лимузин был оборудован радиосвязью. Его сопровождали машины агентов.

По мере приближения к Нью-Йорку предосторожности усилились. У въезда в Голланд-туннель нашу кавалькаду возглавила машина штатной полиции. Все движение за нами было остановлено. Если кто-нибудь и следовал за конвоем, все равно не удалось бы обнаружить наших следов после того, как мы, миновав туннель, оказались в Нью-Йорке.

Мы объехали с юга Манхэттен, направились на север, вверх по Ист-Сайд и, наконец, свернули назад к Уолл-Стрит. Этот кружной путь был придуман Джонсоном, чтобы возможные преследователи решили, будто мы следуем из Лонг-Айленда или из Коннектикута, но никак не с запада. Я слушал вполуха. Мое внимание было поглощено видом за окном.

Когда я оказался в Нью-Йорке в 1958 году, Уолл-Стрит был первой "достопримечательностью", которую я увидел.

Было время ленча, и я с трудом пробивался сквозь толпу, запрудившую узкий тротуар. Зрелище, которое я увидел с гостевой галереи Биржи, внушило мне противоречивые чувства. С одной стороны, мне было все здесь интересно, с другой — ажиотаж, возбуждение биржевых маклеров вызывали некоторое отвращение. Позже, уже почти став нью-йоркским жителем, я водил сюда советских туристов. Только такой я и представлял себе эту улицу.

В сгущающемся сумраке этого воскресного вечера финансовый центр Нью-Йорка мирно отдыхал. Из-за экономии электроэнергии света было мало, и улицы казались призрачными, гулками — настоящий город призраков. Можно было подумать, что некая катастрофа уничтожила здесь человеческую жизнь, оставив только огромные и заброшенные архитектурные сооружения. Я ехал на встречу, которой не хотел, по какому-то подземному миру, и это вселяло странное беспокойство.

Но перед домом № 100 на Уолл-Стрит кипела жизнь. Когда лимузин подъехал к подъезду, человек двадцать мрачного вида быстро образовали двойную шеренгу от тротуара до входа. Джонсон вышел, приказав мне остаться в машине. Проверив все, он вернулся, открыл заднюю дверцу и скомандовал:

— Быстро!

Вслед за Джонсоном я торопливо прошел через человеческий коридор в пустое здание, где меня уже ждал лифт. Мы поднялись наверх, дверь открылась — передо мной стоял сияющий Эрнест Гросс.

— Мы одержали верх. Они согласились. Будут только Трояновский и Добрынин, но они опоздают на пару минут.

— Прекрасно! — Я старался отвечать в тон, но на самом деле не испытывал ни малейшего энтузиазма. — Значит, одну уступку они уже сделали.

На большее я и не рассчитывал. До прибытия послов мы с Гроссом прошлись по пунктам, которые подлежат обсуждению, условились о том, в каком порядке будем выдвигать их. Главное — это мой решительный отказ возвратиться в Москву и выполнять какие бы то ни было инструкции советского пра-

вительства. Я начну с этого заявления, которое уже сформулировал в письмах два дня тому назд, повторю свое требование гарантий относительно Лины, Геннадия и Анны. Потом мы слушаем их.

Конференц-зал был перестроен для формальных переговоров, так что мы будем сидеть на разных концах длинного стола, посреди которого будет стоять магнитофон.

В 8.15 агент снизу позвонил, что послы прибыли и следуют в конференц-зал. Эрнест Гросс, Марк Гаррисон (специалист по СССР из Госдепартамента, присутствовавший в качестве наблюдателя) и я сели за стол. В центре — Гросс. За спиной у нас — дверь, ведущая в личный кабинет Гросса. Добрынин и Трояновский вошли в другую дверь. Я хорошо знал обоих и сразу заметил, что за напускной любезностью скрывается напряжение. Они обменялись с нами рукопожатиями, но глаза их были холодны.

Пока говорил Гросс, я следил за ними, ожидая какого-то проявления чувств. С Трояновским мы никогда не были близки, но Добрынина я любил и уважал, и он всегда относился ко мне по-дружески — не то чтобы был моим близким другом, но наши отношения выходили за рамки чисто профессионального общения. И хотя мы вдруг стали противниками, мне было его немного жаль. Он-то, наверное, лучше других понимает мое решение. Конечно, он никогда этого не покажет, но он слишком честный человек, чтобы не понять того разочарования, которое двигало мной.

Оба посла были профессионалами и легко приняли совершенно официальный вид, при котором любое проявление человеческих чувств только подорвало бы их позиции. Когда Эрнест Гросс заговорил о гарантиях безопасности моей семьи, о чем я упоминал в письмах Брежневу и Трояновскому, на их лицах проснулось удивление: о чем речь? Никаких писем никто не получал.

Я, разозленный, шепотом спросил Гросса: "Письма ведь были посланы?"

Он заверил меня, что, конечно, письма были отосланы и послы просто блефуют — это видно. Чтобы разрядить обста-

новку, он пошутил насчет ужасной нью-йоркской почты, потом предложил мне отдать Добрынину и Трояновскому копии английского перевода писем.

Сначала они отказались читать эти копии.

— Мы просто хотим поговорить по душам и выяснить, что же на самом деле произошло, — настаивал Трояновский.

Я этого вовсе не жаждал, но все же мы начали беседу по-русски. Марк Гаррисон переводил нашу беседу Гроссу.

Я почти дословно повторил все, что написал в письме Трояновскому, но как только упомянул о гарантиях для Лины и моей семьи, Добрынин перебил меня:

— Кстати, мы только что проводили ее.

— Да, она передавала вам приветы, — добавил Трояновский.

Меня эта новость ошарашила, и я пробормотал нечто несуразное:

— Но это незаконно... Я не согласен... Это несерьезно... два посла видят, как моя жена уезжает...

Воображение нарисовало ужаснувшую меня картину: Лину, накаченную таблетками, поддерживаемую этими двумя деятелями, в окружении кагебешников сажают на тот самый самолет Аэрофлота, которым я должен был улететь в Москву. Я так часто представлял себе все это, и вот все сбылось — только не со мной, а с Линой.

Я хотел отделаться от этих мыслей и вернуться к вопросу о письменных гарантиях благополучия моей семьи, но Добрынин попробовал повернуть разговор в другое русло. Он сказал Гроссу по-английски:

— Мы оба знаем Шевченко лет пятнадцать-двадцать. Он всегда пользовался полным доверием советского правительства, руководства Министерства иностранных дел, и мы тоже верили ему как нашему коллеге по совместной работе. Он обернулся ко мне и начал говорить о том, как был ошеломлен моим поступком.

— Аркадий, мы знаем друг друга много лет. Я не верю, что все эти годы ты поступал в противовес своим убеждениям. Как это понять?

— Я был идиотом, — огрызнулся я, — и верил в идиотские вещи.

Лицемерие добрынинского вопроса было нам троим до тошноты знакомо. Мы понимали, что миллионы советских граждан скрывают свои подлинные мысли насчет партийной линии и советской политики. Я знал, что многие партийные и правительственные чиновники, даже сотрудники КГБ, иной раз всю жизнь скрывают свои убеждения. Глупец, рискнувший выразить подобные мысли, может потерять не только пост и привилегии, но, вероятно, и саму жизнь. Один неверный шаг способен привести к личной или профессиональной катастрофе, и почти все жители СССР должны быть всегда осторожны и бдительны. Это стало второй натурой большинства советских граждан, и я не был исключением. Добрынин и Трояновский знали все это лучше меня, потому что были старше и дольше жили при советском режиме. И все же не было ничего удивительного в том, что они пытались сбыть свой залежалый товар.

На протяжении всего разговора Добрынин допытывался о подробностях и непосредственных причинах моего решения. Я упомянул о попытке взлома в моей квартире. Трояновский тут же отмел мои доводы:

— Вы были больны, мы о вас беспокоились.

— Но это был не единственный инцидент, — ответил я, — просто один из последних.

Я говорил о том, что агенты КГБ установили за мной усиленную слежку, преследуя меня в коридорах и лифтах ООН, в Миссии, на улицах Нью-Йорка. Добрынин и Трояновский все отрицали, по их словам, это просто недоразумение. Но я сказал, что не собираюсь больше выполнять распоряжения Москвы и "ни за что" не вернусь в СССР.

Видя, как я взволнован, Гросс положил ладонь мне на руку, пытаясь вернуть меня в рамки дипломатических переговоров. Но было слишком поздно. Я взорвался:

— Это все пустые разговоры. Я полностью не согласен... но это мое личное дело... Все сказано в моих письмах, и я не понимаю, зачем нам что-либо обсуждать, пока вы их не прочитаете.

Мне дважды пришлось просить покончить с этим "беспо-

лезным разговором", прежде чем Добрынин театральным жестом взял письма и начал вместе с Трояновским читать.

На несколько минут установилось молчание, я попытался взять себя в руки, но тщетно. Я ничуть не сомневался, что им прекрасно известно содержание моих писем, а возможно, и моего письма Лине. Но они разыгрывали святую невинность, искажая события так, чтобы представить меня пешкой в руках американцев, а все дело — хитрой, провокационной игрой.

К тому же меня буквально убило сообщение об отъезде Лины — или, вернее, о ее похищении. И когда Добрынин отложил письма и с ухмылкой сказал, что в них чувствуются "американские клише", я вскочил от возмущения:

— Мистер Гросс, — сказал я по-английски, — я не желаю продолжать этот оскорбительный разговор.

Добрынину и Трояновскому я повторил то же самое по-русски:

— Прекратим все это!

— Не огорчайся, не нужно. Давай поговорим, — попытался пойти на попятную Добрынин.

Но с меня было достаточно. Разъяренный, я ушел в личный кабинет Гросса. Но и здесь все мои попытки успокоиться были напрасны. Закрыв лицо руками, я разрыдался, выплакивая всю свою злость, горечь, чувство потери и утраты.

Разговор в конференц-зале продолжался еще полчаса, но кончился ничем. Добрынин и Трояновский повторили, что они озабочены моим состоянием и не могут понять моего решения. Тщетно Гросс пытался заставить их говорить о деле, обсудить вопрос о гарантиях. Советские представители заклинились на прошлом. Они отказывались согласиться с тем, что мое решение окончательно, отказывались рассматривать требования относительно будущего моей семьи. В конце концов Гросс предложил продолжить обсуждение в другой раз.

Войдя в кабинет, Гросс принялся было подводить итоги, но быстро сообразил, что я не в состоянии обсуждать детали или о чем-то думать. Мы решили отложить разговор на завтра. Когда я встал, он протянул мне два конверта, которые передали ему советские представители.

В одном было письмо от Лины: она писала, что я сделал ошибку, просила меня вернуться домой, в Москву. Письмо было написано ее почерком, но стиль был не ее. Другое было якобы от Геннадия, напечатано на машинке, не подписано. В нем, как и в письме Лины, повторялись банальные фразы, придававшие письмам оттенок фальши. Я понял, что давно потерял Геннадия. Ради его же собственного блага я никогда не толкал его к критике советской власти, никогда не обсуждал ни с ним, ни с Анной мои истинные настроения. Я даже Лине не раскрывался полностью. С годами я понял, что обсуждение недостатков советской жизни даже в семейном кругу может стать опасным: можно легко выдать себя в другом окружении, к тому же Геннадий был не только молод и неопытен, он хотел сделать карьеру в Министерстве иностранных дел, где малейшая критика системы могла навек погубить его. Я оберегал его от собственных диссидентских размышлений и теперь расплачивался за это разлукой с сыном до конца жизни. Пробежав письма глазами, я сунул их в карман.

Не составляло труда понять, что оба письма инспирированы КГБ. Лина поверила в их лживый рассказ, ее заставили поверить, что я жертва ЦРУ, но, что если я вернусь домой, то со мной ничего не сделают. Она поверила в легенду КГБ, не смотря на мое письмо. Скорее всего, она приняла большую дозу успокоительных таблеток, потому что, как сообщили мне позже американцы, в аэропорту у нее был растерянный, почти невменяемый вид. Американским официальным лицам она сказала, что летит в Москву по своей воле, но, кроме Трояновского и Добрынина, ее сопровождала группа агентов КГБ. Они проводили ее прямо до самого самолета, как я себе и представлял. Лина не имела возможности высказаться ни в зале ожидания, ни в письме.

К тому времени, когда я покончил с письмами, я уже был вполне спокоен. Соппротивление Добрынину и Трояновскому выкачало из меня все эмоции. В течение трех дней после побега я был словно подключен к источнику нервной энергии, и вдруг он иссяк.

Мы вышли из здания через гараж в подвале. (Позже мне

рассказывали, что на улице были агенты КГБ, которые пытались следить за домом, но держались на расстоянии от американской охраны. На обратном пути я не замечал ни дороги, ни сидевших рядом американцев, я впал в состояние полной апатии, из которого выходил только, когда меня о чем-то спрашивали.

Впрочем, события не заставили себя ждать. В понедельник, в полдень, представитель ООН объявил на регулярном инструктивном совещании прессы, что я внезапно взял отпуск. Измученный событиями воскресного вечера, я после завтрака снова лег в постель. Меня разбудил Джонсон, который передал мне слово в слово сообщение: "Мистер Шевченко сообщил Генеральному секретарю, что он некоторое время будет отсутствовать, и упомянул в связи с этим о разногласиях со своим правительством. Сейчас предпринимаются усилия по выяснению сути дела. Пока же мистер Шевченко числится в отпуску".

Я не думал, что все это произойдет так быстро, но заявление подтверждало — хотя и косвенным образом — что я остаюсь на посту заместителя Генерального секретаря. В нем также содержалось достаточно информации, чтобы заключить, что я порвал с советским правительством.

Сообщение тут же стало новостью номер один. Сначала его передавали по телевидению, во вторник оно проникло в газеты и, по традиции американской прессы, из него тут же сделали сенсацию.

11 апреля заголовок на первой странице "Нью-Йорк Таймс" гласил: "Советский гражданин, помощник Вальдхайма, бежит из ООН". Журналисты утверждали, что это одна из самых крупных побед разведки США, и строили догадки насчет моих мотивов.

Почти во всех сообщениях говорилось о шоке моих коллег. Меня считали ортодоксальным советским функционером, послушным, лояльным коммунистом, представителем твердой линии. Говорилось о том, что я был одним из самых молодых послов СССР, упоминалась моя служба советником у Громыко — как доказательство не только моей блестящей карье-

ры, но и моей политической благонадежности. Некоторые репортеры высказывали предположение, что я мог бы стать со временем заместителем Министра иностранных дел: стараясь отыскать рациональные объяснения моему поступку, они словно соревновались, фантазируя относительно моих высоких постов в будущем.

Во вторник, заявив официальный протест Госдепартаменту, Советы представили свое объяснение. Официальное заявление гласило, что я "несомненно" являюсь "жертвой запланированной провокации", что "разведывательная служба США непосредственно вовлечена в эту неблагоприятную историю". Они требовали моего возвращения в СССР.

Эрнест Гросс выступил с отрицанием советских обвинений и отклонил их требования. В подтверждение того, что я действую по доброй воле он сообщил, что я встречался с советскими официальными лицами, которых он не назвал. Но "Правда" опубликовала в четверг собственную версию: в небольшом, на несколько строчек, сообщении, напечатанном на последней странице, меня назвали "советским гражданином, работавшим в секретариате ООН", далее говорилось, что "пропагандистская кампания, развернувшаяся в американской прессе в связи с делом Шевченко, явно служит цели прикрыть неблагоприятную деятельность специальных служб (США)".

На самом деле единственную пропагандистскую кампанию начали русские. Это был типичный образец методов дезинформации, применяемых КГБ. Стоит какому-нибудь перебежчику поставить Москву в затруднительное положение, как делается все, чтобы очернить "предателя". Обычно выдвигается один из пяти мотивов: алчность, женщины, алкоголь, принуждение или преступная деятельность. Мой случай, был, очевидно, необычным: советские работники в ООН начали распространять обо мне слухи, обвиняя сразу в четырех грехах из пяти возможных.

Некоторые журналисты не задумываясь подхватили линию КГБ. В одном сообщении говорилось, что у меня был роман с американкой. Согласно "Нью-Йорк Таймс", "советские дипломаты и дипломаты из других стран восточного блока осо-

бенно стараются привлечь внимание к алкоголизму мистера Шевченко, объясняя этим его поступок".

Тэд Шульц, журналист "Вашингтон Пост", один из немногих, кто понял, что происходит. Он писал: "Первоначальное советское обвинение, что Шевченко находится под давлением американской разведки, явная ерунда. Распространяемые коммунистическими источниками в Нью-Йорке намеки на его "проблемы с алкоголем" служат, по-видимому, целям морального убийства персонажа. Побег Шевченко был явно политической и пропагандистской неожиданностью для Кремля". На протяжении всей этой журналистской шумихи я хранил молчание. Как сотрудник ООН я не мог общаться с прессой без специального разрешения, а будучи скрывающимся перебежчиком, не мог пригласить репортеров.

Но пресса едва не засекла меня. Во вторник днем Джонсон в необычном волнении влетел в гостиную конспиративной квартиры:

— Мы должны выметаться отсюда. Этот проклятый клерк в гостинице увидел вашу фотографию в местной газете и вспомнил вас, рассказал, что вы там зарегистрировались. Пресса уже там. Мы пропали. Если они об этом знают, то и КГБ тоже уже в курсе.

Хотя конспиративная квартира была в нескольких милях от Вайт Хевена, Джонсон считал, что оставаться там опасно. Пока я паковал свои пожитки, он отдал агентам распоряжение вернуть арендованную машину, заплатить в гостинице по счету и забрать из номера мою сумку. Через несколько часов мы с ним и несколько охранников обосновались в гостинице Марриотт, неподалеку от Джерси Сити. На имя одного из агентов мы сняли несколько смежных комнат, туда нам приносили еду. В этих безликих клетушках мной овладела жуткая депрессия, я с ужасом думал о том, что вот так может пройти вся оставшаяся жизнь.

Окна моей комнаты выходили на автомобильную стоянку и непрерывный рев траков, мусороуборочных машин и автомобилей постояльцев гостиницы сливались в бесконечный грохот, создаваемый, казалось, чьей-то злой волей, чтобы не

дать мне уснуть. Я просыпался, снова засыпал и вновь пробуждался, не в состоянии привести в порядок мои мысли. Я не был в состоянии вернуться к незаконченному отчету Добрынина. Я не мог сосредоточиться, чтобы почитать или сыграть в шахматы. Единственно, на что я оказался способен — это часами смотреть телевизор и пару раз сыграть в карты. Я был похож на животное, впавшее в зимнюю спячку. Под вооруженной охраной я ожидал возвращения в Нью-Йорк Курта Вальдхайма, чтобы обсудить с ним дальнейшие шаги.

Мои защитники и товарищи из всех сил старались развлечь меня, но выйти ненадолго из депрессии мне удалось лишь когда позвонил Эрнест Гросс с предложением встретиться. Он хотел рассказать о своих переговорах с чиновниками ООН. Кроме того, и он и Джонсон считали, что мне было бы полезно неожиданно появиться на публике, чтобы окончательно опровергнуть советские утверждения, будто ЦРУ держит меня в качестве заложника. Я согласился, и в четверг мы с Гроссом встретились у него на квартире.

Он сказал, что в финансовом вопросе официальные лица ООН заняли деловую позицию: конкретные условия еще не обсуждались, но, похоже, что они готовы выплатить мне изрядную сумму, если я решу уйти в отставку. По мнению Джонсона, действовать надо быстро, чтобы как можно скорее покончить с этим делом.

— Для вас будет все труднее оставаться на своем посту, находясь под нашей опекой, — сказал он. — Для чиновника ООН это не совсем обычный способ существования.

Я не мог этого отрицать, но и не был готов вот так, сразу, сдаться.

— Это зависит не от меня, — ответил я. — Я ничего не могу до возвращения Вальдхайма. Мы с ним должны все решить с глазу на глаз.

Они согласились со мной. Гросс предложил пойти в Сенчери Ассошиэшн,* популярный клуб, где можно выпить и про-

* Клуб для видных деятелей искусства, политиков, бизнесменов, членами которого становятся путем выборов. (Прим.ред.)

вести время. О нашем посещении, разумеется, узнают журналисты. План оказался удачным.

Мы вошли в клуб и сели за столик по соседству с Фрэнсисом Плимптоном, известным американским юристом и дипломатом, которого я знал еще со времен, когда он в 60-е годы представлял в ООН Соединенные Штаты. Плимpton подсел к нам и сразу же сказал, что его очень удивил мой поступок.

— Я хорошо помню, как вы держались в Совете Безопасности. Нам казалось, что вы все время заставляете Федоренко занимать более жесткую позицию именно в тот момент, когда, по нашему впечатлению, он вот-вот готов был пойти на компромисс.

— Вы просто не понимали, что происходит, — смеясь объяснил я. — Дело в том, что Федоренко часто забывал свои инструкции, и моя задача как раз и заключалась в том, чтобы напомнить ему о них и не давать сбиться с верного курса. Если бы я этого не делал, у меня были бы неприятности — и прежде всего он сам задал бы мне взбучку.

Мы вспомнили еще кое-что. Гросс представил меня другим членам клуба и после милой и приятной беседы мы уехали.

Вскоре мне стало известно от Фердинанда Майрхофера и других, что Советы оказывают на Вальдхайма давление, заставляя уволить меня. Советские дипломаты подняли этот вопрос в разговорах с Генеральным секретарем в Лондоне и Дублине и заняли очень жесткую позицию. Гросс сообщил мне, что Трояновский хочет еще раз встретиться со мной.

Мне трудно далась первая встреча, и перспектива еще раз вынести все это вовсе не улыбалась. Но Джонсон настаивал.

— Я понимаю ваши чувства, но не надо чересчур увлекаться. Им нужно раз и навсегда показать, что решение принято и что вы действовали по своей воле.

Я уважал Берта. Он был мне другом, и я привык прислушиваться к его советам, зная, что это в моих интересах. Но я понимал, что тут он выступает, как выразитель официальной американской точки зрения. Очередной раунд американо-советских переговоров об ОСВ (СОЛТ) был назначен на май, и Госдепартамент мог решить, что мой побег может дурно по-

влиять на климат переговоров, если только Советы не поймут, что я действовал по доброй воле, что меня никто не принуждал. Во всяком случае, я согласился в последний раз встретиться с Трояновским, чтобы еще раз попробовать добиться от него того, что казалось мне первоочередным делом, — гарантий будущего моей семьи.

Мы снова назначили встречу на воскресный вечер в офисе Эрнеста Гросса, снова в сопровождении конвоя пронесли по пустым улицам делового Манхэттена к пустому небоскребу и добрались до конференц-зала юридической фирмы. На этот раз за столом напротив меня сидел лишь Олег Трояновский.

У него было покрасневшее лицо, он явно нервничал, но держал себя в руках. Я тоже сохранял подобие спокойствия, благодаря Гроссу, без конца толкавшему меня локтем и шепотом просившего успокоиться. Но когда Трояновский заговорил о моем "злосчастном... случайном решении", я не мог сдержаться. Еще не поздно "пересмотреть" все и вернуться в Союз, повторял Трояновский, "никаких последствий не будет". Я стоял на том, что никогда не вернусь. Он пустил в ход завуалированную угрозу: "с каждым днем" возможность моего безнаказанного возвращения "будет уменьшаться". Я повторил, что не изменю решения.

Я хотел получить от Трояновского письменные гарантии по поводу Лины, Геннадия, Анны — он дал мне только устные, да и то косвенным образом.

— Никто не собирается вступать с вами в сделку, — сказал он, — потому что никто не будет преследовать вашу семью. Они ничего общего с вашим решением не имеют.

Я с отвращением взглянул на него, когда он заявил, что моя семья может рассчитывать на защиту, предоставляемую ей советским законом. Я-то знал, что этот закон, по указанию КГБ, всегда можно извратить в политических целях или проигнорировать. Но Гросс сказал, что, с его точки зрения, "на слух юриста", утверждения Трояновского звучат "как гарантии". Трояновский холодно повторил, что это просто "констатация факта". Его обещание, что Лине будет оставлено наше имущество и она не будет подвергаться преследованиям, бы-

ло записано на магнитофон. Я понял, что это единственные гарантии, которые я могу получить. Оставалось удовлетворяться этим.

Последний акт пьесы, где я играл роль дипломата, затягивался, и с этим пришлось смириться. Как и прочие действия этой пьесы, разыгрывавшейся в тот месяц, он состоялся поздно вечером в почти пустом здании, в атмосфере неуверенности и напряженности.

25 апреля, через девять дней после встречи с Трояновским, мне позвонил Гросс: Вальдхайм вернулся из Европы, он хочет меня видеть и согласен, как я и просил, встретиться со мной в своем кабинете. В тот же вечер я отправился в здание ООН. Моя американская охрана оставалась на улице, а я вошел через гараж в подвале, и группа охранников ООН проводила меня на тридцать восьмой этаж в кабинет Генерального секретаря. В огромном здании находилось всего несколько человек: мои охранники, я, Фердинанд Майрхофер и сам Вальдхайм. Привычный для меня многие годы шум и суета затихли. Пустота действовала пугающе.

Вальдхайм встал из-за своего стола, чтобы поздороваться со мной. Он был явно не в своей тарелке, и первый же вопрос выдал его нервозность.

— Ведь вас никто не принуждал к этому? — спросил он.

— Курт, — ответил я, — неужели вы думаете, я был бы здесь, если бы на меня оказывалось давление? -- Далее я заверил его, что не собираюсь осложнять его положение и настаивать на дальнейшей работе в ООН. — Я не хочу вредить организации — и для ООН, и для меня самое лучшее, если мы расстанемся по-дружески.

Вальдхайм с явным облегчением опустил в кресло. Хотя мой юрист и чиновники ООН подготовили соглашение, по которому мне причиталось немногим более 76-ти тысяч долларов (сюда входили вынужденная отставка, проценты пенсионного плана, неиспользованный отпуск и последняя зарплата), я еще не подтвердил своего согласия принять эти условия. Мои слова избавили его от неуверенности.

— Я знал, что вы будете вести себя как порядочный человек. Я в вас никогда не сомневался, — сказал он.

Оставалось еще одно: я напомнил Вальдхайму, что потерял контакт с семьей и мне может понадобиться его помощь, чтобы защитить ее.

— Аркадий, я сделаю все, что могу, — ответил Курт, — но вы лучше меня знаете, как сомнительно, что это действительно поможет.

За разговором он подписал бумаги о моей отставке и протянул их мне на подпись. Мы пожали друг другу руки. На этом наш разговор и моя работа в ООН закончились. Я попытался поблагодарить Вальдхайма за выпавшее мне счастье работать с ним, для ООН, но слова мои звучали невыразительно, тускло и никак не выразили моих чувств.

Прощавшись, я бросил последний взгляд на небольшой, но со вкусом обставленный кабинет Генерального секретаря. Глядя на голубой флаг ООН в углу, на круглый журнальный столик и уютную тахту, где я так часто сидел с ним в эти пять лет нашего сотрудничества, я подумал, как глупо, что моя карьера закончилась именно так. Мне нравилась моя работа, и мне нравился Вальдхайм. Было очень грустно, что я больше не имею отношения к ООН. С горьким чувством я вышел из его кабинета и вместе с Фердинандом Майрхофером отправился в свой собственный кабинет.

Здесь я отобрал мои книги и папки и проследил за тем, как охранники разложили мои пожитки в стопки, которые позже будут запакованы. Пока они работали, я стоял перед столом, глядя в окно, потом на стены, переводя взгляд с огней Нью-Йорка на карту мира — от своего насыщенного делами прошлого, которое сейчас паковали и выносили вон, в мое неопределенное будущее. Я думал о том, что здесь, в этом здании, у меня было много друзей, которых хорошо знали в их странах. Мы работали вместе в трудные времена, над трудными вопросами, мы старались улучшить шансы планеты на выживание. Слишком часто мы могли сделать только самую малость. Но наши усилия были ценны. Это была работа ради мира.

Я чувствовал, что еще не сделал всего, что могу, что мне трудно проститься с моим делом. Я никогда не думал, что мне вот так, тайком, придется уходить отсюда.

Мои грустные раздумья прервал Майрхофер.

— Мы готовы. Запакуем все это потом. Куда отправить коробки?

Я огляделся по сторонам, словно ответ мог материализоваться в окружающей меня мебели.

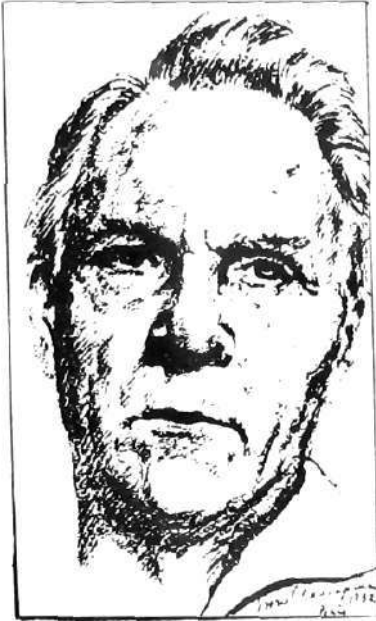
— Не знаю, — ответил я после затянувшейся паузы.

Майрхофер меня понял.

— Не волнуйтесь, мы сохраним их, пока вы за ними не пришлете. Счастливо!

В пустом лифте я спустился в гараж и снова вышел на малолюдные улицы, чтобы отправиться в одинокий номер гостиницы в Нью-Джерси. Я был в глубочайшем унынии и начал понимать, что это состояние может длиться долго. Отрезав себя от родины и от ООН, — от двух миров, составлявших мою жизнь, я уже скучал по ним. Как скучал уже по друзьям, которые были в этих мирах и которых теперь потерял навсегда. Я понимал, что мне придется найти новый мир, — но как? Понимал, что придется завести новых друзей, — но где? Мне было всего сорок семь лет, но я вдруг почувствовал себя очень старым и очень одиноким.

Перевод с английского Елены Гессен



Федор ШАЛЯПИН

РАЗБИТАЯ РОССИЯ

Приезжая в Москву, я часто заглядывал к Бедному, и это было единственное место, где я сталкивался с советскими вельможами не в качестве просителя. Эти люди, должен я сказать, относились ко мне весьма любезно и внимательно. Я уже как-то упоминал, что у Бедного я встретил в первый раз Ленина (не считая не замеченной мною встречи с ним у Горького в 1905 году). У Бедного же я встретился с преемником Ленина, Сталиным. В политические беседы гостей моего приятеля я не вмешивался и даже не очень к ним прислушивался. Их разговоры я мало понимал, и они меня не интересовали. Но впечатление от людей я все-таки получал.

Когда я впервые увидел Сталина, я не подозревал, конечно, что это — будущий правитель России, "обожаемый" своим окружением. Но и тогда я почувствовал, что этот человек в некотором смысле особенный. Он говорил мало, с довольно сильным кавказским акцентом. Но все, что он говорил, звучало очень веско — может быть, потому, что это было коротко.

— Нужно, чтоб они бросили ломать дурака, а здэлали то, о чем было уже говорэно много раз...

Из его неясных для меня по смыслу, но энергичных по тону фраз, я выносил впечатление, что этот человек шутить не будет. Если нужно, он так же мягко, как мягка его беззвучная поступь лезгина в мягких сапогах, и станцует, и взорвет Храм Христа Спасителя, почту или телеграф — что угодно. В жесте, движениях, звуке, глазах — это в нем было. Не то, что злодей — такой он родился.

Вождей армии я встретил не в квартире Д.Бедного, но все же благодаря ему. Однажды Бедный мне сказал, что было бы хорошо запросто съездить к Буденному, в его поезд, стоящий под Москвой на запасном пути Киево-Воронежской железной дороги. Он мне при этом намекнул, что поездка может доставить мне лишний пуд муки, что в то время было огромной вещью. Любопытно мне было познакомиться с человеком, о котором так много говорили тогда, а тут еще пуд муки!

В Буденном, знаменитом кавалерийском генерале, приковали мое внимание сосредоточенные этакие усы, как будто вылитые, скованные из железа, и совсем простое со скулами солдатское лицо. Видно было, что это как раз тот самый российский вояка, которого не устрашает ничто и никто, который, если и думает о смерти, то всегда о чужой, но никогда о своей собственной.

Ярким контрастом Буденному служил присутствовавший в вагоне Клим Ворошилов, главнокомандующий армией: добродушный, как будто слепленный из теста, рыхловатый. Если он бывший рабочий, то это был рабочий незаурядный, передовой и интеллигентный. Меня в его пользу подкупило крепкое, средечное пожатие руки при встрече и затем приятное напоминание, что до революции он приходил ко мне по поручению рабочих просить моего участия в концерте в пользу их больничных касс. Заявив себя моим поклонником, Ворошилов с улыбкой признался, что он также выпрашивал у меня контрамарки.

Я знал, что у Буденного я встречу еще одного военачальника, Фрунзе, про которого мне рассказывали, что при царс-

ком режиме он во время одной рабочей забастовки где-то в Харькове с колена расстреливал полицейских. Этим Фрунзе был в партии знаменит. Полемизируя с ним однажды по какому-то военному вопросу, Троцкий на партийном съезде иронически заметил, что "военный опыт тов.Фрунзе исчерпывается тем, что он застрелил одного полицейского пристава"... Я думал, что встречу человека с низким лбом, взъерошенными волосами, сросшимися бровями и с узко поставленными глазами. Так рисовался мне человек, с колена стреляющий в городских. А встретил я в лице Фрунзе человека с мягкой русой бородкой и весьма романтическим лицом, горячо вступающего в спор, но в корне очень добродушного.

Такова была "головка" армии, которую я нашел в поезде Буденного.

Вагон второго класса, превращенный в комнату, был прост, как жилище простого фельдфебеля. Была, конечно, "собрана" водка и закуска, но и это было чрезвычайно просто, опять-таки как за столом какого-нибудь фельдфебеля. Какая-то женщина, одетая по деревенски, — кажется, это была супруга Буденного — приносила на стол что-то такое: может быть, селедку с картошкой, а может быть, курицу жареную — не помню, так это было все равно. И простой наш фельдфебельский пир начался. Пили водку, закусывали и пели песни — все вместе. Меня просили запевать, а затем и спеть. Была спета мною "Дубинушка", которой подпевала вся "русская армия". Затем я пел старые русские песни: "Лучинушку", "Как по ельничку да по березничку", "Снеги белые пушисты". Меня слушали, но особенных переживаний я не заметил. Это было не так, как когда-то, в ранней молодости моей, в Баку. Я пел эти самые песни в подвальном трактире, и слушали меня тогда какие-то беглые каторжники — те подпевали и плакали...

Особенных разговоров при мне военачальники не вели. Помню только, что один из них сказал о том, как под Ростовом стояла замерзшая конница. Красная или белая, я не знал, но помню, что мне было эпически страшно представить себе ее перед глазами: плечо к плечу окаменелые солдаты на ко-

нях... Какая-то северо-ледовитая жуткая сказка. И мысль моя перенеслась назад, в Саконтянский лес, к деревянному кресту неизвестного солдата с ухарски надетой на него пустой шапкой...

Вспомнилась солдатская книжка в крови и короткая в ней запись:

— За отлично-усердную службу...

Те же, те же русские солдаты! Под Варшавой против немцев и под Ростовом против русских — те же...

А на другой день я получил некоторое количество муки и сахара. "Подарок от донского казака".

Такова жизнь...

10

Ворошилов заявил себя моим "поклонником". Вообще же я мало встречал так называемых поклонников моего таланта среди правителей. Может быть, они и были, но я их не ощущал. За исключением одного случая, о котором хочу рассказать потому, что этот случай раздвоил мое представление о том, что такое чекист. Однажды мне в уборную принесли кем-то присланную корзину с вином и фруктами, а потом пришел в уборную и сам автор любезного подношения. Одетый в черную блузу, человек этот был темноволосый, худой, с впалой грудью. Цвет лица у него был и темный, и бледноватый, и зелено-землистый. Глаза-маслины были явно воспалены. А голос у него был приятный, мягкий; в движениях всей фигуры было нечто добродушно-доверчивое. Я сразу понял, что мой посетитель туберкулезный. С ним была маленькая девочка, его дочка. Он назвал себя. Это был Бокий, известный начальник петербургского Чека, о котором не слышал ничего, что вязалось бы с внешностью и манерами этого человека.

Говорят, что люди, хворающие туберкулезом, живут как бы в атмосфере грустного добродушия. Я подумал, что может быть, это туберкулез затмевает фигуру чекиста. Но совсем откровенно должен сказать, что Бокий оставил во мне прекрасное впечатление, особенно подчеркнутое отеческой

его лаской к девочке. Я вообще люблю детей, и всякое проявление ласки к ребенку, не только со стороны посторонних, но и со стороны отца, меня всегда трогает чрезвычайно. Я думаю, что если чекисты держали бы при себе детей во время исполнения ими служебных обязанностей. Чека была бы не тем, чем она для России была...

11

Артистическая среда по всему строю своих чувств, навыков и вкусов принадлежала, конечно, к тому "старому миру", который надлежало уничтожить. Это была своеобразная интеллигенция с буржуазными повадками, т.е. вдвойне чуждая духу пролетарского режима. Но, как я уже отмечал, советские люди по многим причинам мирволили театру, и потому самому заправскому коммунисту не вменялось в грех общение с актерами. Правда и то, что актерский мир вообще довольно легко приспосабливается к новым условиям, к новым людям. Может быть, это оттого, что лицедейство на сцене приучает профессионального актера видеть в самых коренных переворотах жизни только своего рода смену декораций и действующих лиц. Вчера играли генерала, сегодня играют пьяного рабочего. Вчера играли светскую комедию или мещанскую драму, а сегодня идет трагедия...

Как бы то ни было, после большевистского переворота русский театр оказался облепленным всякого рода "деятелями революции", как мухами. И за несколькими исключениями, это были именно мухи; слоны были слишком грузны и важны, слишком заняты делом, чтобы развлекаться хождением по кулисам или посещением актеров на дому. Попадались среди них, конечно, и приятные люди, хотя бы такие, как этот легкомысленный, но славный командир Ш., с симпатичным матовым лицом и умными глазами. Но это были редкие исключения. Среди моих "надоедателей" преобладали люди малокультурные, глубоко по духу мне чуждые, часто просто противные. Я иногда спрашиваю себя с удивлением, как это могло случиться, что в моей столовой, в которой си-

живали Римские-Корсаковы, Серовы, Стасовы, Горькие, Рахманиновы, Репины, Дальские, — как в ней могли очутиться все эти Куклины и Рахия, о которых мне теперь омерзительно вспомнить. А между тем в тогдашних петербургских условиях, удивительно напоминавших режим оккупации побежденной провинции развязными победителями, это право втираться в интимную жизнь других людей казалось естественным, как право победителя-офицера на "военный постой"... К тому же уровень жизни так во всех решительно отношениях понизился, что к неподходящим людям привыкали с такой же покорностью, с какой привыкали к недоеданию и к потрепанному платью. Кто же тогда в России стыдился дырявых сапог?..

Привычка не исключала, однако, внезапных взрывов отвращения. Случалось, что эти господа переходили всякие границы, и тогда тупая покорность превращалась в крайнее бешенство.

Вина и спиртные напитки добротного качества исчезли из нормального оборота, и граждане, любящие посидеть за рюмкой веселой влаги, стали изготавливать водку домашними способами. У меня завелся особый сорт эстонской водки из картошки. Что это была водка хорошая — остается недоказанным, но мы в это верили. Во всяком случае, моим "мухам" она очень пришлась по вкусу. Среди них находился финляндский коммунист Рахия и русский коммунист Куклин, бывший лабазник, кажется. Пока пили картошку, все шло хорошо. Но вот кому-то вздумалось завести разговор о театре и актерам.

Рахия очень откровенно и полным голосом заявил, что таких людей, как я, надо резать.

Кто-то полюбопытствовал:

— Почему?

— Ни у какого человека не должно быть никаких преимуществ над людьми. Талант нарушает равенство.

Замечание Рахия меня позабавило. Ишь, подумал я, как на финна действует эстонская водка!.. Но на беду заораторствовал Куклин. Он был обстоятелен и красноречив: ничего,

кроме пролетариев, не должно существовать, а ежели существует, то существовать это должно для пролетариев. И каждые пять минут настойчиво повторял:

— Вот вы, актеришки, вот вы, что вы для пролетариата сделали что-нибудь, али не сделали?

Тошно стало. Я все же, сдерживаясь, объясняю, что мы делаем все, что можем, для всех вообще, значит, и для пролетариев, если они интересуются тем, что мы делать можем. А он все свое: никто ничего не понимает, а в особенности я, Шаляпин.

— Ты ничего не поймаешь. А ты выдумай что-нибудь, да для пролетариата и представь.

— Выдумай ты, а я представлю.

— Так ты же актеришка, ты и выдумать должен. Ты ничего не понимаешь... Да что ты понимаешь в пролетариате?

Тут я, забыв мой долг хозяина дома быть деликатным, что называется взвился штопором и, позеленев от бешенства, тяжелым кулаком хлопнул по гостеприимному столу. Заиграла во мне царская кровь Грозного и Бориса:

— Встать! Подобрать живот, сукин сын! Как ты смеешь со мной так разговаривать? Кто ты такой, что я тебя никак понять не могу? Навоз ты этакий, я Шекспира понимаю, а тебя, мерзавца, понять не могу. Молись Богу, если можешь, и приготовься, потому что я тебя сейчас выброшу в окно на улицу...

Товарищи, почуяв опасный пассаж в дружеской беседе, встали между мною и Куклиным. Успокоили меня, и "гости", выпив последний стакан эстонской водки, разошлись по домам.

Нисколько не веселее обстояли дела в театре.

Как-то давно в Петербурге, еще при старом режиме, ко мне в Северную гостиницу постучался какой-то человек. Был он подстрижен в скобку, на выковырянном рябоватом лице были рыженькие усики, сапоги бутылкой. Вошел, повертел головой направо и налево, точно она у него была надета на кол, посмотрел углы и, найдя икону, истово трижды перекрестился да и сказал:

— Федор Иванович, вы меня не помните?

— Нет, — говорю.

— А я у вас при постройке дачи, значит, наблюдал.

— Ах, да. Кажется, вспоминаю.

— Будьте любезны, Федор Иванович, похлопочите мне местечко какое.

— А что вы умеете делать?

Нечаянный собеседник удивился:

— Как что могу делать? Наблюдать.

Интересно наблюдать, потому что он, ничего не делая и ничего не понимая, только приказывает: цатого поту сучок-от рубить.*

Много на Руси охотников понаблюдать. И вот эти любители наблюдать набросились при коммунизме на русский театр. Во время революции большую власть над театром забрали у нас разные проходимцы и театральные дамы, никакого в сущности отношения к театру не имевшие. Обвиняли моего милого дурга Теляковского в том, что он кавалерист, а директорствует в Императорских театрах. Но Теляковский в своей полковой конюшне больше передумал о театре, чем эти проходимцы и дамы-наблюдательницы во всю свою жизнь. Но они были коммунистки или жены коммунистов, и этого было достаточно для того, чтобы их понятия об искусстве и о том, что нужно "народу" в театре — становились законами. Я все яснее видел, что никому не нужно то, что я могу делать, что никакого смысла в моей работе нет. По всей линии торжествовали взгляды моего "друга" Куклина, сводившиеся к тому, что, кроме пролетариата, никто не имеет никаких оснований существовать, и что мы, актеришки, ничего не понимаем. Надо-де нам что-нибудь выдумать для пролетариата и представить... И этот дух проникал во все поры жизни, составлял самую суть советского режима в театрах. Это он убивал и замораживал ум, опустошал сердце и вселял в душу отчаяние.

* Так напечатано (Д.Т.)

Кто же они, сей дух породившие?

Одни говорят, что это кровопийцы; другие говорят, что это бандиты; третьи говорят, что это подкупленные люди, подкупленные для того, чтобы погубить Россию. По совести должен сказать, что, хотя крови пролито много, и жестокости было много, и гибелью, действительно, веяло над нашей родиной, — эти объяснения большевизма кажутся мне лубочными и чрезвычайно поверхностными. Мне кажется, что все это проще и сложнее, в одно и то же время. В том соединении глупости и жестокости, Содомы и Навуходоносора, каким является советский режим, я вижу нечто подлинно российское. Во всех видах, формах и степенях — это наше родное уродство.

Я не могу быть до такой степени слепым и пристрастным, чтобы не заметить, что в глубокой основе большевистского движения лежало какое-то стремление к действительному переустройству жизни на более справедливых, как казалось Ленину и некоторым другим его сподвижникам, началах. Не простые же это были, в конце концов, "воры и супостаты". Беда же была в том, что наши российские строители никак не могли унижить себя до того, чтобы задумать обыкновенное человеческое здание по разумному человеческому плану, а непременно желали построить "башню до небес" — Вавилонскую башню!.. Не могли они удовлетвориться обыкновенным здоровым и бодрым шагом, каким человек идет на работу, каким он с работы возвращается домой — они должны рвануться в будущее семимильными шагами... "Отречемся от старого мира" — и вот, надо сейчас же вымести старый мир так основательно, чтобы не осталось ни корня, ни пылинки. И главное — удивительно з н а ю т всё наши российские умники. Они знают, как горбатенького сапожника сразу превратить в Аполлона Бельведерского, знают, как научить зайца зажигать спички; знают, что нужно этому зайцу для его счастья; знают, что через двести лет б у д е т нужно потомкам этого зайца для их счастья. Есть такие заумные футуристы, которые на картинах пишут какие-то сквороды со

струнами, какие-то треугольники с селезенкой и сердцем, а когда зритель недоумевает и спрашивает, что это такое? — они отвечают: "это искусство будущего"... Точно такое же искусство будущего творили наши российские строители. Они знают! И так непостижимо в этом своем знании они уверены, что самое малейшее несогласие с их формулой жизни они признают зловредным и упрямым кощунством, и за него жестоко карают.

Таким образом произошло то, что все "медали" обернулись в русской действительности своей оборотной стороной. "Свобода" превратилась в тиранию, "братство" — в гражданскую войну, а "равенство" привело к принижению всякого, кто смеет поднять голову выше уровня болота. Строительство приняло форму сплошного разрушения, и "любовь к будущему человечеству" вылилась в ненависть и пытку для современников.

Я очень люблю поэму Александра Блока "Двенадцать", несмотря на ее конец, которого я не чувствую: в большевистской процессии я Христа "в белом венчике из роз" не разглядел. Но в поэме Блока замечательно сплетение двух разнородных музыкальных тем. Там слышна сухая, механическая поступь революционной жандармерии:

**Революционный держите шаг —
Неугомонный не дремлет враг...**

Это — "Капитал", Маркс, Лозанна, Ленин...

И вместе с этим слышится лихая, озорная русская завируха-метель:

**В кружевном белье ходила?
Походи-ка, походи!
С офицерами блудила?
Поблуди-ка, поблуди!**

.....
**Помнишь, Катя, офицера?
Не ушел он от ножа.
Аль забыла ты, холера,
Али память коротка?..**

Это наш добрый знакомый — Яшка Изумрудов...

Мне кажется, что в российской жизни под большевиками этот второй, природный элемент чувствовался с гораздо боль-

шей силой, чем первый — командный и наносный элемент. Большевицкая практика оказалась еще страшнее большевистских теорий. И самая страшная, может быть, черта режима была та, что в большевизм влилось целиком все жуткое российское мещанство с его нестерпимой узостью и тупой самоуверенностью. И не только мещанство, а вообще весь русский быт со всем, что в нем накопилось отрицательного. Пришел чеховский унтер Пришибеев с заметками о том, кто как живет, и пришел Федька-каторжник Достоевского со своим ножом. Кажется, это был генеральный смотр всем персонажам всей обличительной и сатирической русской литературы от Фонвизина до Зощенко. Все пришли и добром своим поклонились Владимиру Ильичу Ленину...

Пришли архивариусы незабвенных уездных управ, фельдфебеля, разносящие сифилис по окраинам города, столоничники и жандармы, прокутившиеся ремонтёры-гусары, недоучившиеся студенты, неудачники-фармацевты. Пришел наш знакомый провинциальный полуинтеллигент, который в серые дни провинциальной жизни при "скучном" старом режиме искал каких-то особенных умственных развлечений. Это он выходил на станцию железной дороги, где поезд стоит две минуты, чтобы четверть часика погулять на платформе, укоризненно посмотреть на пассажиров первого класса, а после проводов поезда как-то особенно значительно сообщить обожаемой гимназистке, какое глубокое впечатление он вынес вчера из первых глав "Капитала"...

В казанской земской управе, где я служил писцом, был столоничник, ведавший учительскими делами. К нему приходили сельские учителя и учительницы. Все они были различны по наружности, т.е. одеты совершенно непохоже один на другого, подстрижены каждый по своему, голоса у них были различные, и весьма были разнообразны их простые русские лица. Но говорили они все как-то одинаково — одно и то же. Вспоминая их теперь, я понимаю, что чувствовали они тоже одинаково. Они чувствовали, что все существующее в России решительно никуда не годится, что настанет время, когда будет восстановлена какая-то, им не очень от-

четливо ясная справедливость, и что они тогда духовно обнищуют со страдающим русским народом... Хорошие, значит, у них были чувства. Но вот запомнилась мне одна такая страстная народолюбка из сельских учительниц, которая всю свою к народу любовь перегнала в обиду, как перегоняют хлеб в сивуху. В обиду за то, что Венера Милосская (о которой она читала у Глеба Успенского) смеет быть прекрасной в то время, когда на свете столько кривых и подслеповатых людей, что Средиземное море смеет сиять лазурью (вычитала она это у Некрасова) в то время, когда в России столько луж, топей и болот... Пришла, думаю я, поклониться Кремлю и она...

Пришел также знакомый нам молодой столичный интеллигент, который не считал бы себя интеллигентом, если бы каждую минуту не мог щегольнуть какой-нибудь марксистской или народнической цитатой, и который по существу просто лгал — ему эти цитаты были нисколько не интересны... Пришел и озлобленный сиделец тюрем при царском режиме, которого много мучили, а теперь и он не прочь помучить тех, кто мучили его... Пришли какие-то еще люди, которые ввели в "культурный" обиход изумительные словечки: "он встретит тебя мордой об стол", "катитесь колбасой", "шикарный стул", "сегодня чувствуется, что выпадут осадки".

И пришел, расселся и щелкает на чертовых счетах сухими костяшками — великий бухгалтер!.. Попробуйте убедить в чем-нибудь бухгалтера. Вы его не убедите никакими человеческими резонами — он на цифрах стоит. У него выкладка. Капитал и проценты. Он и высчитал, что ничего не нужно. Почему это нужно, чтобы человек жил сам по себе в отдельной квартире? Это буржуазно. К нему можно вселить столько-то и столько-то единиц. Я говорю ему обыкновенные человеческие слова, бухгалтер их не понимает: ему подавай цифру. Если я скажу Веласкес, он посмотрит на меня с недоумением и скажет: народу этого не нужно. Тициан, Рембрандт, Моцарт — не надо. Это или контрреволюционно, или это белогвардейщина. Ему нужен автоматический счетчик, "аппарат" — робот, а не живой человек. Робот, который в два счета исполнит без мысли, но послушно все то, что прикажет ему за-

водная ручка. Робот, цитирующий Ленина, говорящий под Сталина, ругающий Чемберлена, поющий "Интернационал" и, когда нужно, дающий еще кому-нибудь в зубы...

Робот! Русская культура знала в прошлом другого сорта робота, созданного Александром Сергеевичем Пушкиным по плану пророка Исайи.

**И шестикрылый Серафим
На перепутьи мне явился.
Моих ушей коснулся он,
И их наполнил шум и звон:
И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полет,
И гад морских подземный ход,
И дольней лозы прозябаиье...
И он к устам моим приник
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный, и лукавый,
И жало мудрое змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.
И он мне грудь рассек мечом,
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул.
Как труп, в пустыне я лежал...**

Чем не робот? Но вот...

**И Бога глас ко мне воззвал:
"Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей".**

А тов.Куклин мне на это говорит:

— Ты ничего не понимаешь. Шестикрылый Серафим, дуралей, пролетариату не нужен. Ему нужна шестистволка... Защищаца!..

А мне, тов.Куклин, нужнее всего именно то, что не нужно. Ни на что не нужен Шекспир. На что нужен Пушкин? Какой прок в Моцарте? Какая польза от Мусоргского? Чем послужила пролетариату Дузе?

Я стал чувствовать, что робот меня задушит, если я не вырвусь из его бездушных объятий.

Однообразие и пустота существования так сильно меня тяготили, что я находил удовольствие даже в утомительных и малоинтересных поездках на концерты в провинцию. Все-таки ими изредка нарушался невыносимый строй моей жизни в Петербурге. Самое передвижение по железной дороге немно-го развлекало. Из окна вагона то вольного бродягу увидишь, то мужика на поле. Оно давало какую-то иллюзию свободы. Эти поездки были, впрочем, полезны и в продовольственном отношении. Приедет, бывало, какой-нибудь человек из Пско-ва за два-три дня до Рождества. Принесет с собою большой сверток, положит с многозначительной улыбкой на стол, раз-вяжет его и покажет. А там — окорок ветчины, две-три копче-ных колбасы, кусок сахара фунта в три-четыре...

И человек этот скажет:

— Федор Иванович! Все это я с удовольствием оставляю вам на праздники, если только дадите слово приехать в Псков, в мае, спеть на концерте, который я организую... Понимаю, что вознаграждение это малое для вас, но если будет хороший сбор, то я после концерта еще и деньжонок вам уделю.

— Помилуйте, какие деньги! — бывало ответишь на радос-тях. Вам спасибо. Приятно, что подумали обо мне.

И в мае я отпевал концерт, "съеденный" в декабре...

Такие визиты доставляли мне и семье большое удовольст-вие. Но никогда в жизни я не забуду той великой жадной ра-дости, которую я пережил однажды утром весной 1921 года, увидев перед собою человека, предлагающего мне выехать с ним петь концерт за границу. "Заграница"-то, положим, бы-ла доморощенная — всего только Ревель, еще недавно рус-ский губернский город, но теперь это, как-никак, столица Эстонии, державы иностранной, — окно в Европу. А что про-исходит в Европе, как там люди живут, мы в нашей совет-ской черте оседлости в то время не имели понятия. В Ревеле — мелькнуло у меня в голове — можно будет узнать, что делает-ся в настоящей Европе. Но самое главное — не сон это: передо мною был живой человек во плоти, ясными русскими слова-ми сказавший мне, что вот он возьмет меня и повезет не в какой-нибудь Псков, а за границу, в свободный край.

— Отпустят ли? — усумнился я. — Я вспомнил, сколько мне стоило хлопот получить разрешение для моей заболевшей дочери Марины выехать в санаторию, в Финляндию и как долго длились тогда мои хождения по департаментам.

— Об этом не беспокойтесь. Разрешение я добуду.

Действительно, меня отпустили. Поехали мы втроем: я, виолончелист Вольф-Израэль и в качестве моего аккомпаниатора, еще один музыкант — Маратов, инженер по образованию. Захватил я с собою и моего приятеля Исайку. Что банальнее переезда границы? Сколько я их в жизни моей переехал! Но Гулливер, вступивший впервые в страну лилипутов, едва ли испытал более сильное ощущение, чем я, очутившись на первой заграничной станции. Для нас, отвыкших от частной торговли, было в высшей степени сенсационно то, что в буфете этой станции можно было купить сколько угодно хлеба. Хлеб был хороший — весовой, хорошо испеченный и посыпанный мучкой. Совестно было мне смотреть, как мой Исайка, с энтузиазмом набросившись на этот хлеб, стал запихивать его за обе щеки, сколько было технически возможно.

— Перестань! — весело закричал я на него во весь голос. — Приеду — донесу, как ты компрометируешь свою родину, показывая, будто там голодно.

И сейчас же, конечно, последовал доброму примеру Исайки.

Мои ревельские впечатления оказались весьма интересными.

Узнал я, во-первых, что меня считают большевиком. Я остановился в очень милом старом доме в самом Кремле, а путь к этому дому лежал мимо юнкерского училища. Юнкера были, вероятно, русские. И вот, проходя как-то мимо училища, я услышал:

— Шаляпин!

И к этому громко произнесенному имени были прицеплены всевозможные прилагательные, не особенно лестные. За прилагательными раздались свистки. Я себя большевиком не чувствовал, но крики эти были мне неприятны. Для того же, чтобы дело ограничилось только словами и свистками, я стал изыскивать другие пути сообщения с моим домом. Меня осо-

бенно удивило то, что мой импрессарио предполагал возможность обструкции во время концерта. Но так как в жизни я боялся только начальства, но никогда не боялся публики, то на эстраду я вышел бодрый и веселый. Страхи оказались напрасными. Меня хорошо приняли, и я имел тот же успех, который мне, слава Богу, во всей моей карьере сопутствовал неизменно.

Эстонский министр иностранных дел, г. Бирк, любезно пригласил меня на другой день поужинать с ним в клубе. По соображениям этикета он счел необходимым пригласить и советского посланника, некоего Гуковского, впоследствии отравившегося, как говорили тогда, — по приказу. Я был приятно взволнован предстоявшей мне возможностью увидеть давно невиданное мною свободное и непринужденное собрание людей, — членов клуба, как я надеялся. Я нарядился, как мог, и отправился в клуб. Но меня ждало разочарование: ужин был нам сервирован в наглухо закрытом кабинете. Правильно или нет, но я почувствовал, что министр иностранных дел Эстонии не очень-то был расположен показаться публике в обществе советского посланника....

Возвращаясь в Петербург, я в пути подводил итог моим ревельским впечатлениям:

1. Жизнь за границей куда лучше нашей, вопреки тому, что нам внушали в Москве и Петербурге.
2. Советы не в очень большом почете у иностранцев.
3. Меня считают большевиком по злым сплетням и потому, что я приехал из России, где живу и продолжаю жить под большевистским режимом.
4. Песни мои все-таки приняты были хорошо.

В общем, значит, первая разведка оказалась благоприятной. Если я вырвусь в Европу, работать и жить я смогу.

Большая радость ждала мою семью, когда я приволок с вокзала здоровый ящик со всякой снедью. На некоторое время мы перестали пить морковный чай, который изготавлялся на кухне нашими дамами. С радостью идолопоклонников они теперь месили тесто из белой муки и пекли лепешки.

После поездки в Ревель, возбуждавшей во мне смутные надежды на лучшее будущее, я стал чувствовать себя гораздо бодрее и с обновленной силой приступил к работе над оперой Серова "Вражья сила", которую мы тогда ставили в Мариинском театре. Эта постановка мне особенно памятна тем, что она доставила мне случай познакомиться с художником Кустодиевым. Много я знал в жизни интересных, талантливых и хороших людей, но если я когда-либо видел в человеке действительно высокий дух, так это в Кустодиеве. Все культурные русские люди знают, какой это был замечательный художник. Всем известна его удивительно яркая Россия, звенящая бубенцами и масленицей. Его балаганы, его купцы Сусловы, его купчихи Пискулины, его сдобные красавицы, его ухари и молодцы — вообще, все его типические русские фигуры, созданные им по воспоминаниям детства, сообщают зрителю необыкновенное чувство радости. Только неимоверная любовь к России могла одарить художника такой веселой меткостью рисунка и такую аппетитной сочностью краски в неутомимом его изображении русских людей... Но многие ли знали, что сам этот веселый, радующий Кустодиев был физически беспомощный мученик-инвалид? Нельзя без волнения думать о величии нравственной силы, которая жила в этом человеке и которую иначе нельзя назвать, как героической и доблестной.

Когда возник вопрос о том, кто может создать декорации и костюмы для "Вражьей силы", заимствованной из пьесы Островского "Не так живи, как хочешь, а так живи, как Бог велит", — само собою разумеется, что решили просить об этом Кустодиева. Кто лучше его почувствует и изобразит мир Островского? Я отправился к нему с этой просьбой.

Жалостливая грусть охватила меня, когда я, пришедши к Кустодиеву, увидел его прикованным к креслу. По неизвестной причине у него отнялись ноги. Лечили его, возили по курортам, оперировали позвоночник, но помочь ему не могли.

Он предложил мне сесть и руками передвинул колеса своего кресла поближе к моему стулу. Жалко было смотреть на обездоленность человека, а вот ему как будто она была

незаметна: лет сорока, русский, бледный, он поразил меня своей духовной бодростью — ни малейшего оттенка грусти в лице. Блестяще горели его веселые глаза — в них была радость жизни.

Я изложил ему мою просьбу.

— С удовольствием, с удовольствием, — отвечал Кустодиев. Я рад, что могу быть вам полезным в такой чудной пьесе. С удовольствием сделаю вам эскизы, займусь костюмами. А пока что, ну-ка, вот позируйте мне в этой шубе. Шуба у вас больно такая богатая. Приятно ее написать.

— Ловко ли? — говорю я ему. Шуба-то хороша, да возможно — краденая.

— Как краденая? Шутите, Федор Иванович.

— Да так, говорю, — недели три назад получил ее за концерт от какого-то государственного учреждения. А вы, ведь знаете лозунг: "грабь награбленное".

— Да как же это случилось?

— Пришли, предложили спеть концерт в Мариинском театре для какого-то, теперь уже не помню какого — "Дома", и вместо платы деньгами али мукой предложили шубу. У меня хотя и была моя татарка кенгуровая, и шубы мне, пожалуй, брать не нужно было бы, но я заинтересовался. Пошел в магазин. Предложили мне выбрать. Экий я мерзавец — буржуй! Не мог выбрать похуже — выбрал получше.

— Вот мы ее, Федор Иванович, и закрепим на полотне. Ведь как оригинально: и актер, и певец, а шубу свистнул.

Посмеялись и условились работать. Писал Кустодиев портрет, отлого наклоняя полотно над собою, неподвижным в кресле... Написал быстро. Быстро написал он также эскизы декораций и костюмов к "Вражьей силе". Я занялся актерами. И начались репетиции. Кустодиев пожелал присутствовать на всех репетициях. Из всех сил старался я каждый раз доставать моторный грузовик, и каждый раз с помощью его сына или знакомых мы выносили Кустодиева с его креслом, усаживали в мотор и затем так же вносили в театр. Он с огромным интересом наблюдал за ходом репетиций и, казалось мне, волновался, ожидая генеральной. На первом представле-

нии Кустодиев сидел в директорской ложе и радовался. Спектакль был представлен всеми нами старательно и публике понравился.

Недолго мне пришлось любовно глядеть на этого удивительного человека. Портрет мой был написан им в 1921 году зимою, а в 1922 году я уехал из Петербурга. Глубоко я был поражен известием о смерти, скажу — бессмертного Кустодиева. Как драгоценнейшее достояние я храню в моем парижском кабинете мой знаменитый портрет его работы и все его изумительные эскизы к "Вражьей силе".

15

Мой концерт в Ревеле не прошел незамеченным для международных театральных антрепренеров. Какой-нибудь корреспондент, вероятно, куда-то о нем телеграфировал, и через некоторое время я получил в Москве письмо от одного американского импрессарио. Оно пришло ко мне не прямо по почте, а через А.В.Луначарского, который переслал его при записке, в которой писал, что вот, мол, какой-то чудак приглашает вас в Америку петь. Чудаком он назвал антрепренера не без основания: тот когда-то возил по Америке Анну Павлову, и потому на его бланке была выгравирована танцовщица в позе какого-то замысловатого па.

Обрадовался я этому письму чрезвычайно, главным образом, как хорошему предлогу спросить Луначарского, могу ли я вступить с этим импрессарио в серьезные переговоры, и могу ли я рассчитывать, что меня отпустят за границу. Луначарский мне это обещал.

Антрепренеру я ничего не ответил, но сейчас же стал хлопотать о разрешении выехать за границу, куда я решил отправиться на собственный риск — так велико было мое желание вырваться из России. Визу я получил довольно скоро. Но мне сказали, что за билет до одной Риги надо заплатить несколько миллионов советских рублей. Это было мне не по средствам. Деньги-то эти у меня были, но их надо было оставить семье на питание. Надо было кое-что взять и с собою. А мне до этого

уши прожужжали тем, что советским гражданам, не в пример обывателям капиталистических стран, все полагается получать бесплатно — по ордерам. И вот я набрался мужества и позвонил Луначарскому: как же, говорили — все бесплатно, а у меня просят несколько миллионов за билет. Луначарский обещал что-то такое устроить, и, действительно, через некоторое время он вызвал меня по телефону и сообщил, что я могу проехать в Ригу бесплатно. Туда едет в особом поезде Литвинов и другие советские люди — меня поместят в их поезд.

Так и сделали. Когда я приехал на вокзал, кто-то меня весьма любезно встретил, подвел к вагону первого класса и указал мне отдельное купе. Вагон был министерский: салон, небольшая столовая, а сбоку, вероятно, была и кухня. Дипломаты держали себя в отношении меня любезно и ненавязчиво, а я держал себя посредственностью, которая вообще мало что смыслит и поэтому ни в какие разговоры не вдается. Пили кофе, завтракали. Во время остановок я охотно выходил на платформу и гулял. Была хорошая августовская погода.

Менее приятно почувствовал себя я на платформе в Риге. Выходим из вагона — фотографы, кинооператоры, репортеры. Выходит Литвинов, выхожу и я... "Улыбайтесь"... Щелк... Мерси... Большевик Шаляпин!..

Останавливаюсь в какой-то очень скромной гостинице третьего разряда, в маленьком номерочке, потому что мало денег. Иду в банке менять — латвийский чиновник улыбается.

— Извините, — говорит. — Этих денег мы не принимаем. Весело!

Иду с опущенной головой назад в гостиницу. Что же делать мне?.. И вдруг кто-то меня окликнул. Приятель, тенор из Мариинского театра Виттинг, оказавшийся латышом. Молодой, жизнерадостный, жмет мне руки. Рад. Чего это я такой грустный? Да вот, говорю, не знаю, как быть. В гостинице остановился, а платить-то будет нечем.

Концерт! — восклицает мой добрый приятель. — Сейчас же, немедленно!

И действительно устроил. Успех, кое-какие деньги и благодатный дождь самых неожиданных для меня предложений. Сейчас же после концерта в Ригу приехал ко мне из Лондона видный деятель большого граммофонного общества Гайзберг и предложил возобновить довоенный контракт, выложив на бочку 200 фунтов стерлингов. Пришли телеграфные приглашения петь из Европы, Америки, Китая, Японии, Австралии...

Предоставляю читателям самим вообразить, какой я закатил ужин моим рижским друзьям и приятелям. Весь верхний зал ресторана Шварца был закрыт для публики, и мы усердно поработали. Надо же было мне истратить четверть баснословной суммы, как с неба ко мне упавшей.

В этот мой выезд из России я побывал в Америке и пел концерты в Лондоне. Половину моего заработка в Англии, а именно 1400 фунтов, я имел честь вручить советскому послу в Англии, покойному Красину. Это было в добрых традициях крепостного рабства, когда мужик, ухаживший на отхожие промыслы, отдавал помещику, собственнику живота его, часть заработков.

Я традицию уважаю.

16

Если из первой моей поездки за границу я вернулся в Петербург с некоторой надеждой как-нибудь вырваться на волю, то из второй я вернулся домой с твердым намерением осуществить эту мечту. Я убедился, что за границей я могу жить более спокойно, более независимо, не отдавая никому ни в чем никаких отчетов, не спрашивая, как ученик приготовительного класса, можно ли выйти или нельзя...

Жить за границей одному, без любимой семьи, мне не мыслилось, а выезд со всей семьей был, конечно, сложнее — разрешат ли? И вот тут — каюсь — я решил покривить душою. Я стал развивать мысль, что мои выступления за границей приносят советской власти пользу, делают ей большую рекламу. "Вот, дескать, какие в Советах живут и процветают артисты!" Я этого, конечно, не думал. Всем же понятно, что если я

не плохо пою и не плохо играю, то в этом председатель Совнаркома ни душой, ни телом не виноват, что таким уж меня задолго до большевизма создал Господь Бог. Я это просто бухнул в мой профит.

К моей мысли отнеслись, однако, серьезно и весьма благосклонно. Скоро в моем кармане лежало заветное разрешение мне выехать за границу с моей семьей...

Однако в Москве оставалась моя дочь, которая замужем, моя первая жена и мои сыновья. Я не хотел подвергать их каким-нибудь неприятностям в Москве и поэтому обратился к Дзержинскому с просьбой не делать поспешных заключений из каких бы то ни было сообщений обо мне иностранной печати. Может ведь найтись предприимчивый репортер, который напечатает сенсационное со мною интервью, а оно мне и не снилось.

Дзержинский меня внимательно выслушал и сказал:

— Хорошо.

Спустя две-три недели после этого, в раннее летнее утро, на одной из набережных Невы, поблизости от Художественной академии, собрался небольшой кружок моих знакомых и друзей. Я с семьей стоял на палубе. Мы махали платками. А мои дражайшие музыканты Мариинского оркестра, старые мои кровные сослуживцы, разыгрывали марши.

Когда же двинулся пароход, с кормы которого я, сняв шляпу, махал ею и кланялся им, — то в этот грустный для меня момент, грустный потому, что я уже знал, что долго не вернусь на родину — музыканты заиграли "Интернационал"...

Так, на глазах у моих друзей, в холодных прозрачных водах царицы Невы растаял навсегда мнимый большевик — Шаляпин.

"ЛЮБОВЬ НАРОДНАЯ"

1

С жадной радостью вдыхал я воздух Европы. После нищенской и печальной жизни русских столиц все представлялось мне богатым и прекрасным. По улицам ходили, как мне ка-

залось, счастливые люди — беззаботные и хорошо одетые. Меня изумляли обыкновенные витрины магазинов, в которых можно было без усилий и ордеров центральной власти достать любой товар. О том, что я оставил позади себя, не хотелось думать. Малейшее напоминание о пережитом вызывало мучительное чувство. Я, конечно, дал себе слово держаться за границы вдали от всякой политики, заниматься своим делом и избегать открытого выражения каких-нибудь моих "опинионов" о советской власти. Не мое это актерское дело, — думал я. Заявление Дзержинскому, что никаких политических интервью я давать не буду, было совершенно искренним. А между тем уже через некоторое время после выезда из Петербурга я невольно учинил весьма резкую демонстрацию против советской власти, и только потому, что глупый один человек грубо напомнил мне за границей то, от чего я убежал.

Было это в Осло. Пришел ко мне советский консул, не то приветствовать меня, не то облегчить мне хлопоты по поездке. Хотя внимание консула мне вовсе не было нужно, я его сердечно поблагодарил — оно меня тронуло. Оказалось, однако, что консул исправлял в Осло еще одну официальную обязанность — он был корреспондентом советского телеграфного агентства. И вот, исполнив весьма мило консульский долг гостеприимства, мой посетитель незаметно для меня перегримировался, принял домашне-русский облик и вступил в торжественное исправление второй его служебной обязанности.

— Как вы, Федор Иванович, относитесь к советской власти?

Поставил вопрос и раскрыл корреспондентский блокнот, собираясь записывать мой ответ.

Не знаю, где теперь этот знаменитый блокнот — успел ли хозяин его унести вместе со своими ногами, или он по настоящее время валяется на полу гостиницы в Осло.

Глупый вопрос и наглое залезание в мою душу, еще полную боли, меня взорвали, как бомбу. Забыв Дзержинского и все на свете, я до смерти испугал консула-корреспондента ответным вопросительным знаком, который я четко изобразил в воздухе, подняв тяжелый стул:

— А спрашивали они меня, когда власть брали? — закричал я громовым голосом. — Тогда, небось, обошлись без моего мнения, а теперь — как я отношусь? — Вон немедленно отсюда!..

Не знаю, сделался ли известен этот инцидент Дзержинскому, и что он о нем подумал. Зато мне очень скоро пришлось, к сожалению, узнать, что думают о моем отношении к большевистской власти за границей... Это само по себе не очень важное обстоятельство находится в связи с темой более общего порядка, которая меня часто занимала и даже, признаюсь, волновала: почему это люди склонны так охотно во всем видеть плохое и так легко всему плохому верить?

Тут мне необходимо сделать отступление.

2

В течение моей долгой артистической карьеры я нередко получал знаки внимания к моему таланту со стороны публики, а иногда и официальные "награды" от правительств и государей. Как артист я нравился всем слоям населения, имел успех и при дворе. Но честно говорю, что никогда я не добивался никаких наград, ибо от природы не страдаю честолюбием, а еще меньше — тщеславием. Награды же я получал потому, что раз было принято награждать артистов, то не могли же не награждать и меня. Отличия, которые я получал, являлись для меня в известной степени сюрпризами — признаюсь, почти всегда приятными.

Впрочем, с первой наградой у меня в царские времена вышла курьезная неприятность, — вернее, инцидент, в котором я проявил некоторую строптивость характера, и доставивший немного щекотливых хлопот моим друзьям, а главное — Теляковскому.

Однажды мне присылают из Министерства Двора футляр с царским подарком — золотыми часами. Посмотрел я часы, и показалось мне, что они недостаточно отражают широту натуры российского государя. Я бы сказал, что эти золотые с розочками часы доставили бы очень большую радость заслужен-

ному швейцару богатого дома... Я подумал, что лично мне таких часов вообще не надо — у меня были лучшие, а держать их для хвастовства перед иностранцами — вот де какие царь русский часы подарить может! — не имело никакого смысла — хвастаться ими как раз и нельзя было. Я положил часы в футляр и отослал их милому Теляковскому при письме, в котором вполне точно объяснил резоны моего поступка. Получился "скандал". В старину от царских подарков никто не смел отказываться, а я...

В.А.Теляковский отправился в Кабинет Его Величества и вместе со своими там друзьями без огласки инцидент уладил. Через некоторое время я получил другие часы — на этот раз приличные. Кстати сказать, они хранятся у меня до сих пор.

Столь же неожиданно, как часы, получил я звание Солиста Его Величества. В 1909 году, когда я пел в Брюсселе в La Monnaie, я вдруг получаю от Теляковского телеграмму с поздравлением меня со званием Солиста. Только позже я узнал, что Теляковский хлопотал об этом звании для меня, но безуспешно, уже долгие годы. Препятствовал будто бы награждению меня этим высоким званием великий князь Сергей Александрович, дядя государя. Он знал, что я друг "презренного босняка" Горького, и вообще считал меня кабацкой затычкой. Как удалось Теляковскому убедить государя, что я этого звания не опозорю, — не знаю. Меня интересовала другая сторона вопроса. Так как я крестьянин по происхождению, то дети мои продолжали считаться крестьянами, то есть гражданами второго сорта. Они, например, не могли быть приняты в Пушкинский лицей, привлекавший меня, конечно, тем, что он был Пушкинский. Я подумал, может быть, дети Солиста Его Величества получают эту возможность. Я отправился с моим вопросом к одному важному чиновнику Министерства Двора.

— Кто же я такой теперь? — спрашивал я.

Чиновник гнусаво объяснил мне, что грех моего рождения от русского крестьянина высоким званием Солиста Его Величества еще не смыт. В Пушкинском лицее мои дети учиться еще не могут. Но теперь, утешил он меня, я, по крайней

мере, имею некоторое основание об этом похлопотать...

Волею судьбы "Солист Его Величества" превратился в "Первого Народного артиста Советской республики". Произошло это — также совершенно для меня неожиданно — при следующих обстоятельствах.

В первый период революции, когда Луначарский стал комиссаром народного просвещения, он часто выступал перед спектаклями в оперных и драматических театрах в качестве докладчика об исполняемой пьесе. Особенно охотно он делал это в тех случаях, когда спектакль давался для специально приглашенной публики. Он объяснял ей достоинства и недостатки произведения с марксистской точки зрения. В этих докладах иногда отдавалось должное буржуазной культуре, но тут же говорилось о хрупкости и недостаточности этой культуры. В заключение публике давалось официальное уверение, что в самом близком времени мы на практике покажем полноценный вес будущего пролетарского искусства и все ничтожество искусства прошлого.

Как-то в Мариинском театре был дан оперный спектакль с моим участием для прапорщиков, молодых офицеров Красной армии. Шел "Севильский цирюльник". Так как в этой опере я выхожу только во втором акте, то я в театр не торопился. Мне можно было прийти к началу первого акта. Я застал на сцене еще говорящего публике Луначарского. Прошел в уборную, и тут мне пришли и сказали, что Луначарский меня спрашивал, и дали при этом понять, что было неловко с моей стороны опоздать к его докладу. Я выразил сожаление, но при этом заметил, что меня никто не предупреждал о митинге перед спектаклем... В этот момент прибежал ко мне, запыхавшись, помощник режиссера и сказал:

— Товарищ Луначарский просит вас сейчас же выйти на сцену.

— В чем дело?

Пошел на сцену и в кулисах встретил Луначарского, который, любезно поздоровавшись, сказал, что считает справедливым и необходимым в присутствии молодой армии наградить меня званием Первого Народного артиста Социалистической оеспублики.

Я сконфузился, поблагодарил его, а он вывел меня на сцену, стал в ораторскую позу и сказал в мой профиль несколько очень для меня лестных слов, закончив речь тем, что представляет присутствующей в театре молодой армии, а вместе с нею всей Советской России Первого Народного артиста Республики.

Публика устроила мне шумную овацию. В ответ на такой приятный подарок, взволнованный, я сказал, что я много раз в моей артистической жизни получал подарки при разных обстоятельствах от разных правителей, но этот подарок — звание **н а р о д н о г о** артиста — мне всех подарков дороже, потому что он гораздо ближе к моему сердцу человека из народа. А так как, закончил я, здесь присутствует молодежь российского народа, то я в свою очередь желаю им найти в жизни успешные дороги; желаю, чтобы каждый из них испытал когда-нибудь то чувство удовлетворения, которое я испытываю в эту минуту.

Слова эти были искренние. Я действительно от всей души желал этим русским молодым людям успехов в жизни. Ни о какой политике я, разумеется, при этом не думал.

Оказалось, однако, что за эту мою речь я немедленно был зачислен чуть ли не в тайные агенты ГПУ. Уже некий пианист, бывший когда-то моим закадычным другом, выбравшись за границу из России, рассказывал всем, как низко пал Шаляпин. Если бы, заявлял он, к нему в руки когда-нибудь попала власть, то он ни минуты не остановился бы перед наказанием Шаляпина, а формой наказания избрал бы порку... А некий зарубежный писатель, также до некоторой степени мой бывший приятель, а еще больше шумный мой поклонник, в гимназические годы проводивший ночи в дежурствах у кассы, чтобы получить билет на мой спектакль, — с одобрения редакторов копеечных газет и грошовых мыслей — рассказывал в печати публике, что Шаляпин сделался до такой степени ярым коммунистом, что во время представления в Мариинском театре "Евгения Онегина", играя роль генерала Гремина, срывал с себя эполеты и для демонстрации бросал их в партер, приводя этим в восторг солдатскую публику...

Все такие слухи создали обо мне среди живущих за границей русских мнение, что я настоящий большевик или, по крайней мере, прислужник большевиков. Чего же — недоумевали люди — Шаляпин покинул столь любезную ему власть и уехал с семьей за границу? И вот, когда я приехал в Париж, один небезызвестный русский журналист, излагая свои точные соображения о причинах моего выезда из России, объяснил их русской читающей публике весьма основательно:

— Появление Шаляпина в Париже очень симптоматично, а именно — крысы бегут с тонущего корабля...

3

Этот чрезвычайно замечательный комплимент воскресил в моей памяти много в разное время передуманных мыслей о том странном восторге, с которым русский человек "развешивает" своих "любимцев". Кажется, что ему доставляет сладо-страстное наслаждение унижить сегодня того самого человека, которого он только вчера возносил. Унизить часто без оснований, как без повода иногда возносил. Точно тяжело русскому человеку без внутренней досады признать заслугу, поклониться таланту. При первом случае он торопится за эту испытанную им досаду страстно отомстить. Не знаю, быть может, эта черта свойственна людям вообще, но я ее видел преимущественно в русской вариации и немало ей удивлялся. Почему это в нашем быту злое издевательство сходит за ум, а великодушный энтузиазм за глупость. Почему, например, В.В.Стасова, который первый восславил новую русскую музыку, за его благородный энтузиазм называли "Вавила Барабанов", "Неуважай Корыто", "Тромбон" и т.п., а Буренина, который беспощадно шпынял и — скажу — грубо и низко издевался, например, над сентиментальным и больным Надсоном, признали умным человеком? Неужели же ум — это умение видеть все в плохом свете, а глупость — видеть хорошее? Ведь Стасов и Надсон жили на свете только с одним желанием — куда ни взглянуть, заметить прекрасное. Как они благородны в том, что с энтузиазмом смотрели на самые, казалось, маленькие вещи и делали их большими)

Почему это русская любовь так тиранически нетерпима? Живи не так, как хочется, а как моя любовь к тебе велит. Поступай так, как моей любви к тебе это кажется благолепным. Я полюбил тебя, значит, — создавай себя в каждую минуту твоей жизни по моему образу и подобию. Горе тебе, если ты в чем-нибудь уклонился от моего идеала.

В Суконной Слободе, бывало, ходит этакий кудрявый молодой человек с голубыми глазами к девице. Благородно, не возвышая голоса, вкрадчиво объясняет ей свою бескорыстную любовь. Девица поверила, отдала ему свое сердечное внимание. А после десятка поцелуев кудрявый человек с голубыми глазами уже начинает замечать, что она ведет себя не так строго, как должна вести себя девушка: любовь его оскорблена. Не дай Бог, если она ему возразит, что сам же он ее целовал — он придет в неописуемую ярость и предъявит ей категорическое требование:

— Отдай мне немедленно мои письма назад!..

Русская публика меня любила — я этого отрицать не могу. Но почему же не было низости, в которую она бы не поверила, когда дело касалось меня? Почему, несмотря на преклонение перед моим талантом, мне приписывали самые худшие качества?

Я еще могу понять басни и рассказы о моем эпическом пьянстве, хотя никогда ни в каком смысле не был я пьяницей. В представлении русского человека герой не может пить из стакана — он должен пить ушатами. Я пил рюмками, но, так как я был "герой", надо было сказать, что я пью бочками сороковыми, — и ни в одном глазу! Это, пожалуй, даже комплимент мне — молодец. Сила русского человека часто измерялась количеством алкоголя, которое он может безнаказанно поглотить. Если он мог выпить дюжину шампанского и не падать на пол, а, гордо шатаясь, шел к выходу, — его благоговейно провожали словами:

— Вот это человек!

Так что "пьянство" мое я понимаю, — и даже польщен. Но не понимаю, например, почему "герою" уместно приписывать черты мелкого лавочника?

Вспоминается мне такой замечательный случай.

В Московском Большом театре был объявлен мой бенефис. Мои бенефисы всегда публику привлекали, заботиться о продаже билетов, разумеется, мне не было никакой надобности. Продавалось все до последнего места. Но вот мне стало известно, что на предыдущий мой бенефис барышники скупили огромное количество мест и продавали их публике по бешеным ценам, — распродав, однако, все билеты. Стало мне досадно, что мой бенефисный спектакль оказывается, таким образом, недоступным публике со скромными средствами, главным образом — московской интеллигенции. И вот что я делаю: помещаю в газетах объявление, что билеты на бенефис можно получить у меня непосредственно в моей квартире. Хлопотно это было и утомительно, но я никогда не ленюсь, когда считаю какое-нибудь действие нужным и справедливым. Мне же очень хотелось доставить удовольствие небогатой интеллигенции. Что же вы думаете об этом написали в газетах?

— Шаляпин открыл лавочку!..

Богатую пищу всевозможным сплетням давали и дают до сих пор мои отношения с дирижерами. Создалась легенда, что я постоянно устраиваю им неприятности, оскорбляю их, вообще — ругаюсь. За сорок лет работы на сцене столкновения с различными дирижерами у меня, действительно, случались, и все же меня поражает та легкость, с которой мои "поклонники" делают из мухи слона, и та моральная беззаботность, с какой на меня в этих случаях просто клеветают. Не было ни одного такого столкновения, которое не раздули бы в "скандал" — учиненный, конечно, мною. Виноватым всегда оказываюсь я. Не запомню случая, чтобы кто-нибудь дал себе труд подумать, с чего я с дирижерами "скандалю"? Выгоду, что ли, я извлекаю из этих столкновений или они доставляют мне бескорыстное удовольствие?

Уверенность в оркестровом сопровождении для меня, как для всякого певца, одно из главнейших условий спокойной работы на сцене. Только тогда я в состоянии, целиком сосредоточиться на творении сценического образа, когда дири-

жер правильно ведет оркестр. Только тогда могу я во время игры осуществлять тот контроль над собою, о котором я говорил в первой части этой книги. Слово "правильно" я здесь понимаю не в смысле глубоко художественного истолкования произведения, а лишь в самом простом и обычном смысле надлежащего движения и чередования ударов. К великому моему сожалению, у большинства дирижеров отсутствует чувство (именно, чувство) ритма. Так что, первый удар сплошь и рядом оказывается или короче второго, или длиннее. И вот когда дирижер теряет такт, то забегает вперед, этим лишая меня времени делать необходимые сценические движения или мимические паузы, то отстает, заставляя меня замедлить действие — правильная работа становится для меня совершенно невозможной. Ошибки дирижера выбивают меня из колеи, я теряю спокойствие, сосредоточенность, настроение. И так как я не обладаю завидной способностью быть равнодушным к тому, как я перед публикой исполняю Моцарта, Мусоргского или Римского-Корсакова (лишь бы заплатили гонорар!), то малейшая клякса отзывается в моей душе каленым железом. Маленькие ошибки, невольные и мгновенные, у человека всегда возможны. Мои мгновенные же на них реакции обыкновенно остаются незаметными для публики. Но когда невнимательный, а в особенности бездарный дирижер, каких около театра несчетное количество, начинает врать упорно и путать безнадежно, то я иногда теряю самообладание и начинаю отбивать со сцены такты, стараясь ввести дирижера в надлежащий ритм... Говорят, что это неприято, что это невежливо, что это дирижера оскорбляет. Возможно, что это так, но скажу прямо: оскорблять я никого не хочу и очень жалею, если мною кто-нибудь оскорблен; а вот быть "вежливым" за счет Моцарта, Римского-Корсакова и Мусоргского, которого невежественный дирижер извращает и, подлинно, оскорбляет, — я едва ли когда-нибудь себя уговорю... Не способен я быть "вежливым" до такой степени, чтобы слепо и покорно следовать за дирижером, куда он меня без толка и смысла вздумает тянуть, сохраняя при этом на гриме приятную улыбку... Я никогда не отказываю в уважении доб-

росовестному труду, но имею же я, наконец, право требовать от дирижера некоторого уважения и к моим усилиям дать добросовестно сработанный спектакль. С дирижерами у меня бывают тщательные репетиции. Я им втолковываю нота в ноту все, что должно и как должно быть сделано на спектакле. На этих репетициях я не издаю декретов: все мои замечания, все указания мои я подробно объясняю. Если бы дирижер, действительно, пожелал меня куда-нибудь вести за собою, я бы, пожалуй, за ним пошел, если бы только он меня убедил в своей правоте. Логике я внял бы, даже неудобной для меня. Но в том-то и дело, что я еще не видел ни одного дирижера, который логично возразил бы мне на репетиции. Если меня спросит музыкант, артист, хорист, рабочий, почему я делаю то или это, я немедленно дам ему объяснение, простое и понятное, но если мне случается на репетиции спросить дирижера, почему он делает так, а не иначе, то он ответа не находит...

Эти дирижерские ошибки, мешающие мне петь и играть, почти всегда являются следствием неряшливости, невнимания к работе или же претенциозной самоуверенности при недостатке таланта. Пусть дирижеры, которые на меня жалуются публике и газетам, пеняют немного и на себя. Это будет, по крайней мере, справедливо. Ведь с Направником, Рахманиновым, Тосканини у меня н и к о г д а никаких столкновений не случилось.

Я охотно принимаю упрек в несдержанности — он мною заслужен. Я сознаю, что у меня вспыльчивый характер и что выражение недовольства у меня бывает резкое. Пусть меня критикуют, когда я неправ. Но не постигаю, почему нужно сочинять про меня злостные небылицы? В Париже дирижер портит мне во французском театре русскую новинку, за которую я несу главную ответственность перед автором, перед театром и перед французской публикой. Во время действия я нахожу себя вынужденным отбивать со сцены такты. Этот грех я за собою признаю. Но я не помню случая, чтобы я со сцены, во время действия, перед публикой произносил какие-нибудь слова по адресу дирижеров. А в газетах пишут, что я

так его со сцены ругал, что какие-то изысканные дамы встали с мест и, оскорбленные, покинули зал!.. Очевидно, сознание, что я недостаточно оберегаю честь русского искусства, доставляет кому-то "нравственное удовлетворение"...

А какие толки вызвало в свое время награждение меня званием Солиста Его Величества. В радикальных кругах мне ставили в упрек и то, что награду эту мне дали, и то, что я ее принял, как позже мне вменяли в преступление, что я не бросил назад в лицо Луначарскому награды званием Народного артиста. И так, в сущности, водится до сих пор. Если я сижу с русским генералом в кафе de la Paix, то в это время где-нибудь в русском квартале на rue de Banquiers обсуждается вопрос, давно ли я сделался монархистом или всегда был им. Стоит же мне на другой день в том же кафе встретить такового, скрывающегося неизвестно от кого, знакомого коммуниста Ш. и выпить с ним стакан портвейну, так уже на всех улицах, где живут русские, происходит необыкновенный переполох. В конце концов, они понять не могут:

— Монархист Шаляпин или коммунист? Одни его видели с генералом Д., а другие — с коммунистом Ш...

Замечу, что все сказанное служит только некоторым предисловием к рассказу об одном из самых нелепых и тяжелых инцидентов всей моей карьеры. Без злобы я говорю о нем теперь, но и до сих пор в душе моей пробуждается острая горечь обиды, когда я вспоминаю, сколько этот инцидент причинил мне незаслуженного страдания, когда я вспоминаю о той жестокой травле, которой я из-за него подвергался.

4

Государь Николай Второй, в первый раз после Японской войны, собрался приехать на спектакль в Мариинский театр. Само собою разумеется, что театральный зал принял чрезвычайно торжественный вид, наполнившись генералами от инфантерии, от кавалерии и от артиллерии, министрами, сановниками, представителями большого света. Зал блестел сплошными лентами и декольте. Одним словом, "супергала".

Для меня же это был не только обыкновенный спектакль, но еще и такой, которым я в душе был недоволен: шел "Борис Годунов" в новой постановке, казавшейся мне убогой и неудачной.

Я знал, что в это время между хористами и дирекцией Мариинского театра происходили какие-то недоразумения материального характера. Не то это был вопрос о бенефисе для хора, не то о прибавке жалованья. Хористы были недовольны. Они не очень скрывали своей решимости объявить в крайнем случае забастовку. Как будто, даже угрожали этим. Управляющий Конторой Императорских театров был человек твердого характера и с хористами разговаривал довольно громко. Когда он услышал, что может возникнуть забастовка, он, кажется, вывесил объявление в том смысле, что в случае забастовки он не задумается закрыть театр на неделю, на две недели, на месяц, то есть на все то время, которое окажется необходимым для набора совершенно нового комплекта хористов. Объявление произвело на хор впечатление, и он внешне притих, но обиды своей хористы не заглушили. И вот, когда они узнали, что в театр приехал государь, то они тайно между собою сговорились со сцены подать царю не то жалобу, не то петицию по поводу обид дирекции.

Об этом намерении хора я, разумеется, ничего не знал.

По ходу действия в "Борисе Годунове" хору это всего удобнее было сделать сейчас же после пролога. Но наша фешенебельная публика, знающая толк в "Мадам Батерфляй", осталась равнодушной к прекрасной музыке Мусоргского в прологе, и вызовов не последовало. Следующая сцена в келье также имеет хор, но хор поет за кулисами. Публике "супергала" превосходная сцена в келье кажется скучной, и после этого акта опять не было никаких вызовов. У хора, значит, остается надежда на сцену коронации: выходит Шаляпин, будут вызовы. Но, увы, и после сцены коронации шум в зрительном зале не имел никакого отношения к опере: здоровались, болтали, сплетничали... В сцене корчмы нет хора. Нет также хора и в моей сцене в тереме. Хору как будто выйти нельзя. Истомленные хористы решили: если и после моей сцены не подымет-

ся занавес, значит, — и опера ничего не стоит, и Шаляпин плохой актер; если же занавес подымется, — выйти. Занавес, наконец, подымется — надеялись они. И не ошиблись. После сцены галлюцинаций, после слов: "Господи, помилуй душу преступного царя Бориса" — занавес опустился под невообразимый шум рукоплесканий и вызовов. Я вышел на сцену раскланяться. И в этот самый момент произошло нечто невероятное и в тот момент для меня непостижимое. Из задней двери декораций — с боков выхода не было — высыпала, предводительствуемая одной актрисой, густая толпа хористов с пением "Боже, царя храни!", направилась на авансцену и бухнулась на колени. Когда я услышал, что поют гимн, увидел, что весь зал поднялся, что хористы на коленях, я никак не мог сообразить, что, собственно, случилось, — не мог сообразить, особенно после этой физически утомительной сцены, когда пульс у меня 200. Мне пришло в голову, что, должно быть, случилось какое-нибудь страшное террористическое покушение, или — смешно! — какая-нибудь высокая дама в ложе родила...

Полунощная царица

Дарует сына в царский дом...

Мелькнула мысль уйти за сцену, но сбоку, как я уже сказал, выхода не было, а сзади сцена запружена народом. Я попробовал было сделать два шага назад, — слышу шепот хористов, с которыми в то время у меня были отличные отношения: "Дорогой Федор Иванович, не покидайте нас!"... Что за притча? Все это — соображения, мысли, искания выхода — длилось, конечно, не более нескольких мгновений. Однако я ясно почувствовал, что с моей высокой фигурой торчать так нелепо, как чучело, впереди хора, стоящего на коленях, я ни секунды больше не могу. А тут как раз стояло кресло Бориса; я быстро присел к ручке кресла на одно колено.

Сцена кончилась. Занавес опустился. Все еще недоумевая, выхожу в кулисы: немедленно подбежали ко мне хористы и на мой вопрос, что это было? — ответили: "Пойдемте, Федор Иванович, к нам наверх. Мы все вам объясним".

Я с ними пошел наверх, и они действительно мне объяснили свой поступок. При этом они чрезвычайно экспансивно ме-

ня благодарили за то, что я их не покинул, оглушительно спели в мою честь "Многие лета" и меня качали.

Возвратившись в мою уборную, я нашел там бледного и взволнованного Теляковского.

— Что же это такое, Федор Иванович? Отчего вы мне не сказали, что в театре готовится такая демонстрация?

— А я удивляюсь, что вы, Владимир Аркадьевич, об этом мне ничего не сказали. Дело дирекции знать.

— Ничего об этом я не знал, — с сокрушением заметил Теляковский. — Совсем не знаю, что и как буду говорить об этом государю.

Демонстрация, волнение Теляковского и вообще весь этот вечер оставили в душе неприятный осадок. Я вообще никогда не любил странной русской манеры по всякому поводу играть или петь национальный гимн. Я заметил, что чем чаще гимн исполняется, тем меньше к нему люди питают почтения. Гимн вещь высокая и драгоценная. Это представительный звук нации, и петь гимн можно только тогда, когда высоким волнением напряжена душа, когда он звучит в крови и нервах, когда он льется из полного сердца. Святынями не кидаются, точно гнилыми яблоками. У нас же вошло в отвратительную привычку требовать гимна чуть ли не при всякой пьяной драке — для оказательства "национально-патриотических" чувств. Это было мне неприятно. Но решительно заявляю, что никакого чувства стыда или сознания унижения, что я стоял или не стоял на коленях перед царем, у меня не было и в зародыше. Всему инциденту я не придал никакого значения. В самых глубоких клеточках мозга не шевелилась у меня мысль, что я что-то такое сделал неблагоприятное, предал что-то, как-нибудь изменил моему достоинству и моему инстинкту свободы. Должен прямо сказать, что при всех моих недостатках, рабом или холопом я никогда не был и неспособен им быть. Я понимаю, конечно, что нет никакого унижения в колено-преклоненном исполнении какого-нибудь ритуала, освященного национальной или религиозной традицией. Поцеловать туфлю Наместника Петра в Риме, можно, сохраняя полное свое достоинство. Я самым спокойнейшим образом

стал бы на колени перед царем или перед патриархом, если бы такое движение входило в мизансцену какого-нибудь ритуала или обряда. Но так вот, за здорово живешь, броситься на все четыре копыта перед человеком, будь он трижды царь, — на такое низкопоклонство я никогда не был способен. Это не в моей натуре, которая гораздо более склонна к оказательствам "дерзости", чем угодничества. На колени перед царем я не становился. Я вообще чувствовал себя вполне непричастным к случаю. Проходил мимо дома, с которого упала вывеска, не задев, слава Богу, меня...

А на другой день я уезжал в Монте-Карло. В петербургский январь очень приятно чувствовать, что через два-три дня увидишь яркое солнце и цветущие розы. Беззаботно и весело уехал я на Ривьеру.

5

Каково же было мое горестное и негодующее изумление, когда через короткое время я в Монте-Карло получил от моего друга, художника Серова, кучу газетных вырезок о моей "монархической демонстрации!" В "Русском слове", редактируемом моим приятелем Дорошевичем, я увидел чудесно сделанный рисунок, на котором я был изображен у суфлерской будки с высоко воздетыми руками и с широко раскрытым ртом. Под рисунком была надпись: "Монархическая демонстрация в Мариинском театре во главе с Шаляпиным". Если это писали в газетах, то что же, думал я, передается из уст в уста! Я поэтому нисколько не удивился грустной приписке Серова: "Что это за горе, что даже и ты кончаешь карачками. Постыдился бы".

Я Серову написал, что напрасно он поверил вздорным сплетням, и пожурил его за записку. Но весть о моей "измене народу" достигла, между тем, и департамента Морских Альп. Возвращаясь как-то из Ниццы в Монте-Карло, я сидел в купе и беседовал с приятелем. Как вдруг какие-то молодые люди, курсистки, студенты, а может быть, и приказчики, вошедшие в вагон, стали наносить мне всевозможные оскорбления:

— Лакей!
— Мерзавец!
— Предатель!

Я захлопнул дверь купе. Тогда молодые люди наклеили на окно бумажку, на которой крупными буквами было написано:

— Холоп!

Когда я, рассказывая об этом моим русским приятелям, спрашиваю их, зачем эти люди меня оскорбляли, они до сих пор отвечают:

— Потому, что они гордились вами и любили вас.

Странная, слюнявая какая-то любовь!

Конечно, это были молодые люди. Они позволили себе свой дикий поступок по крайнему невежеству и по сомнительному воспитанию. Но как было мне объяснить поведение других, действительно, культурных людей, которых тысячи людей уважают и ценят как учителей жизни?

За год до этого случая я пел в том же Монте-Карло. Вздвонанный человек прибежал ко мне в уборную и с неподдельной искренностью сказал мне, что он потрясен моим пением и моей игрой, что жизнь его наполнена одним этим вечером. Я, пожалуй, не обратил бы внимания на восторженные слова и похвалы моего посетителя, если бы он не назвал своего имени:

— Плеханов.

Об этом человеке я слышал, конечно; это был один из самых уважаемых и образованных вождей русских социал-демократов, даровитый публицист при этом. И когда он сказал мне:

— Как хотел бы я посидеть с вами, выпить чашку чая, — я с искренним удовольствием ответил:

— Ради Бога! Приходите ко мне в отель де Пари. Буду очень счастлив.

— Вы мне позволите с моей супругой?

— Конечно, конечно, с супругой. Я буду очень рад.

Пришли ко мне Плехановы. Мы пили чай, разговаривали. Плеханов мне говорил, подобно Гоголю:

— Побольше бы такого народа, Винница славно бы пошла...

Уходя, он попросил у меня мою фотографию. Мне радостно было слушать его и было приятно знать, что его интересует моя фотография.

Я написал ему:

— "С сердечными чувствами".

И вот, через несколько дней после того, как молодые люди плевали мне в лицо оскорбления, я, придя домой, нашел адресованный мне из Ментона плотный конверт и в нем нашел фотографию, на которой я прочитал две надписи: одну мою старую — "с сердечными чувствами", и другую, свежую — Плеханова — "Возвращается за ненадобностью"...

А в это время в Петербурге известный русский литератор написал мне письмо, полное упреков и укоризны. Унизил де я звание русского культурного человека. Позже я узнал, что этим своим интимным чувствам скорби негодующий литератор дал гектографическое выражение: копии своего письма ко мне он разослал по редакциям всех столичных газет.

Да ведают потомки православных, как благородно он чувствовал...

Должен откровенно признаться, что эта травля легла тяжелым булыжником на мою душу. Стараясь понять странность этого невероятного ко мне отношения, я стал себя спрашивать, не совершил ли я, действительно, какого-нибудь страшного преступления? Не есть ли, наконец, самое мое пребывание в Императорском театре измена народу? Меня очень занимал вопрос, как смотрит на этот инцидент Горький.

Горький был в это время на Капри и молчал. Стороной я слышал, что многие, приехавшие к нему на Капри, не преминули многозначительно мигнуть заостренным глазом в мою сторону. Кончив сезон, я написал Горькому, что хотел бы приехать к нему, но прежде, чем это сделать, желал бы знать, не заразился ли и он общим психозом. Горький мне ответил, что он, действительно, взволнован слухами, которыми ему прожужжали уши. Он меня поэтому просит написать ему, что же произошло на самом деле. Я написал. Горький ответил просьбой немедленно к нему приехать.

Против своего обыкновения ждать гостей дома или на пристани, Горький на этот раз выехал на лодке к пароходу мне навстречу. Этот чуткий друг понял и почувствовал, какую муку я в то время переживал. Я был так растроган этим благородным его жестом, что от радостного волнения заплакал. Алексей Максимович меня успокоил, лишний раз дав мне понять, что он знает цену мелкой пакости людской...

6

Мелкие это были раны, но они долго в моей душе не зажили. Под действием неутихавшей боли от них я совершил поступок, противоречивший, в сущности, моему внутреннему чувству: я отказался участвовать в празднествах по случаю трехсотлетнего юбилея Дома Романовых. Думаю, что я по совести не имел никаких оснований это сделать. Правда, я был враждебен существовавшему политическому режиму и желал его падения. Но всякого рода индивидуальные политические демонстрации вообще чужды моей натуре и моему взгляду на вещи. Мне всегда казалось это кукишем в кармане. Дом Романовых существовал триста лет. Он дал России правителей плохих, посредственных и замечательных. Они сделали много плохих и хороших вещей. Это — русская история. И вот, когда входит царь и когда играют сотни лет игранный гимн, среди всех вставших — один человек твердо сидит в своем кресле... Такого рода протест кажется мне мелкопоместным. Как ни желал бы я искренне запротестовать — от такого протеста никому ни тепло, ни холодно. Так что мое чувство вполне позволяло мне петь в торжественном юбилейном спектакле. Я, однако, уклонился. И поступил я так только потому, что воспоминание о пережитой травле лишило меня спокойствия. Мысль о том, что она может в какой-нибудь форме возобновиться, сделала меня малодушным. Я был тогда в Германии и оттуда конфиденциально написал В.А.Теляковскому, что не могу принять участие в юбилейном спектакле, чувствуя себя нездоровым. Я полагаю, что Владимир Аркадьевич понял несерьезность предложения. Было так легко признать мое

уклонение "саботажем", сделать из этого "организационные выводы" и лишить меня звания Солиста Его Величества. Но В.А.Теляковский был истинный джентльмен и представитель "буржуазной" культуры: о моем отказе он никому не молвил ни слова. Звания Солиста меня никто и не думал лишать. О том, что у человека можно отнять сделанный ему подарок, додумались только представители пролетарской культуры. Вот они, действительно, "лишили" меня звания Народного артиста. Об обстоятельствах, при которых это произошло, стоит рассказать. Это относится к моей теме о "любви на родной"...

Перебегая в качестве крысы из одного государства в другое, чтобы погрызть зернышко то тут, то там, я приехал как-то в Лондон. Однажды, когда я возвращался с ночной прогулки, швейцар отеля несколько загадочно и даже испуганно сообщил мне, что в приемной комнате меня ждут два каких-то индивидуума. В час ночи! Кто бы это мог быть? Просители приходят, обыкновенно, по утрам.

— Русские?

— Нет. Кажется, англичане.

Интервьюеры — так поздно! Я был заинтригован.

— Зови.

Действительно, это оказались английские репортеры. Они сразу мне бухнули:

— Правда ли, господин Шаляпин, что вы денационализированы Советской властью за то, что вы оказали помощь Белой гвардии? Вам, по нашим сведениям, абсолютно воспрещен въезд в Россию.

И они мне показали только что полученную телеграмму. Точь-в-точь, как теперь, на этих днях, мне показывали телеграмму из Москвы, что я Советами "помилован", что мне возвращают мое имущество и что 13 февраля 1932 года я выступлю в Московском Большом театре...

Я, разумеется, ничего не мог сказать им по поводу их сенсации: я просто ничего в ней не понял — что за чушь! Какую помощь оказал я Белой гвардии?

Репортеры были, вероятно, разочарованы, но, уходя, они задали мне еще один вопрос.

— Как же я буду носить свое тело на земле? То есть будучи отвержен родиной, в которую мне никогда никак уж не попасть, в какое подданство, думаю я, будет мне лучше устроиться?

Курьезный вопрос меня успокоил, потому что весьма развеселил. Я ответил, что срочно я им дать ответа не могу, что я прошу на размышление, по крайней мере, хоть одну эту ночь. Я должен подумать и сообразить, к кому мне лучше примазаться.

Ночь эту я, действительно, спал плохо. Что это могло бы значить? — думал я.

Через несколько дней письма от семьи и друзей из Парижа просветили меня, в чем дело.

7

К этому времени, благодаря успеху в разных странах Европы, а главным образом в Америке, мои материальные дела оказались в отличном состоянии. Выехав несколько лет тому назад из России нищим, я теперь мог устроить себе хороший дом, обставленный по моему собственному вкусу. Недавно я в этот свой новый очаг переезжал. По старинному моему воспитанию, я пожелал отнестись к этому приятному событию религиозно и устроить в моей квартире молебен. Я не настолько религиозный человек, чтобы верить, что за отслуженный молебен Господь Бог укрепит крышу моего дома и пошлет мне в новом жилище благодатную жизнь. Но я, во всяком случае, чувствовал потребность отблагодарить привычное нашему сознанию Высшее Существо, которое мы называем Богом, а в сущности даже не знаем, существует ли оно или нет. Есть какое-то наслаждение в чувстве благодарности. С этими мыслями пошел я за попом. Прошли мы на церковный двор на rue Daru, зашли к милейшему, образованнейшему и трогательнейшему священнику о.Георгию Спасскому. Я пригласил его пожаловать ко мне в дом на молебен... Когда я выходил от о.Спасского, у самого крыльца его дома ко мне подошли какие-то женщины, оборванные, обтрепанные, с такими же

оборванными и растрепанными детьми. Дети эти стояли на кривых ногах и были покрыты коростой. Женщины просили дать им что-нибудь на хлеб. Но вышел такой несчастный случай, что ни у меня, ни у моего приятеля не оказалось никаких денег. Так было неудобно сказать этим несчастным, что у меня нет денег. Это нарушило то радостное настроение, с которым я вышел от священника. В эту ночь я чувствовал себя отвратительно.

После молебна я устроил завтрак. На моем столе была икра и хорошее вино. Не знаю, как это объяснить, но за завтраком мне почему-то вспомнилась песня:

**А деспот пирует в роскошном дворце,
Тревогу вином заливая...**

На душе моей действительно было тревожно. Не примет Бог благодарности моей, и нужен ли был вообще этот молебен, думал я.

Я думал о вчерашнем случае на церковном дворе и невпопад отвечал на вопросы гостей. Помочь этим двум женщинам, конечно, возможно. Но двое ли их только или четверо? Должно быть, много.

И вот я встал и сказал:

— Батюшка, я вчера видел на церковном дворе несчастных женщин и детей. Их, вероятно, много около церкви, и вы их знаете. Позвольте мне предложить вам 5000 франков. Распределите их, пожалуйста, по вашему усмотрению...

О.Спасский счел нужным напечатать в русской газете Парижа несколько слов благодарности за пожертвование в пользу бедных русских детей. И немедленно же об этом за посольским секретным шифром с улицы Греналь в Кремль полетела служебная телеграмма...

Москва, некогда сгоревшая от копеечной свечки, снова зажглась и вспыхнула от этого моего, в сущности, копеечного пожертвования. В газетах печатали статьи о том, что Шаляпин примкнул к контрреволюционерам. Актеры, циркачи и другие служители искусства высказывали протесты, находя, что я не только плохой гражданин, но и актер, никуда негодный, а "народные массы" на митингах отлучали меня от родины...

Из Кремля на улицу Гренель под секретным дипломатическим шифром летели телеграммы, и однажды, — кажется, по телефону — я получил очень вежливое приглашение пожаловать в советское полпредство.

Я, конечно, мог бы не пойти, но какое-то щекотливое любопытство подсказывало мне: ступай, ступай. Послушай, что тебе скажут.

Полпред Раковский принял меня чрезвычайно любезно. Он прямо пригласил меня в столовую, где я познакомился с г-жой Раковской, очень милой дамой, говорившей по русски с иностранным акцентом. Мне предложили чаю, русские папиросы. Поболтали о том, о сем. Наконец, посол мне сказал, что имеет что-то такое мне передать. Мы перешли в кабинет. Усадив меня у стола рядом с собою, Раковский, нервно перебирая какие-то бумаги, — ему, видно было немного не по себе — сказал:

— Видите ли, товарищ Шаляпин, я получил из Москвы предложение спросить вас, правда ли, что вы пожертвовали деньги для белогвардейских организаций, и правда ли, что вы их передали капитану Дмитриевскому (фамилию которого я слышал в первый раз) и еп.Евлогию?

А потом, к моему удивлению, он еще спросил:

— И правда ли, что вы в Калифорнии, в Лос-Анджелесе, выступали публично против советской власти? Извините меня, что я вас об этом спрашиваю, но это предписание из Москвы, и я должен его исполнить.

Я ответил Раковскому, что белогвардейским организациям не помогал, что я в политике не участвую, стою в стороне и от белых и от красных, что капитана Дмитриевского не знаю, что еп.Евлогию денег не давал. Что, если дал 5 тысяч франков о.Спасскому на помощь изгнанникам российским, то это касалось детей, а я думаю, что трудно установить с точностью, какие дети белые и какие красные.

— Но они воспитываются по-разному, — заметил Раковский.

— А вот, что касается моего выступления в Калифорнии, то должен по совести сказать, что если я выступал, то в роли

Дон Базилио в "Севильском цирюльнике", но никаких Советов при этом не имел в виду...

По просьбе Раковского, я все это изложил ему в письменном виде для Москвы. Письмом моим в Кремле остались очень недовольны. Не знаю, чего они от меня ожидали.

ВЦИК обсуждал мое дело. И вскоре было опубликовано официально, что я, как белогвардеец и контрреволюционер, лишаясь звания первого Народного артиста Республики...

Я сказал, что у меня хранятся золотые часы, некогда подаренные мне царем. Смотрю я иногда на эти часы и думаю:

— Вот на этом циферблате когда-то указывалось время, когда я был Солистом Его Величества. Потом на нем же указывалось время, когда я был первым Народным артистом. Теперь стоят мои часы...

И когда затем я смотрю в зеркально-лоснящееся золото этих часов, то вместо Шаляпина, лишенного всех чинов, вижу, увы, — только круглый нуль...

ГОРЬКИЙ

1

На протяжении моей книги я много раз говорил об Алексее Максимовиче Пешкове (Горьком), как о близком друге. Дружбой этого замечательного писателя и столь же замечательного человека я всю жизнь гордился. Ныне эта дружба омрачена, и у меня такое чувство, что умолчание об этом грустном для меня обстоятельстве было бы равносильно укрывательству истины. Непристойно носить в петличке почетный орден, право на ношение которого сделалось сомнительным. Вот почему я в этой книге итогов считаю необходимым посвятить несколько страниц моим отношениям с Горьким.

Я уже рассказывал о том, как просто, быстро и крепко завязалась наша дружба с ним в Нижнем Новгороде в начале этого века. Хотя мы познакомились с ним сравнительно поздно — мы уже оба в это время достигли известности — мне Горький всегда казался другом детства. Так молодо и непос-

редственно было наше взаимоотношение. Да и в самом деле: наши ранние юношеские годы мы, действительно, прожили как бы вместе, бок-о-бок, хотя и не подозревали о существовании друг друга. Оба мы из бедной и темной жизни пригородов, он — нижегородского, я — казанского, одинаковыми путями потянулись к борьбе и славе. И был день, когда мы одновременно в один и тот же час постучались в двери Казанского оперного театра, и одновременно держали пробу на хориста: Горький был принят, я — отвергнут. Не раз мы с ним по поводу этого впоследствии смеялись. Потом мы еще часто оказывались соседями в жизни, одинаково для нас горестной и трудной. Я стоял в "цепи" на волжской пристани и из руки в руку перебрасывал арбузы, а он в качестве крючника тащил тут же, вероятно, какие-нибудь мешки с парохода на берег. Я у сапожника, а Горький поблизости у какого-нибудь булочника...

Любовь к человеку не нуждается, собственно говоря, в оправдании: любишь, потому что любишь. Но моя сердечная любовь к Горькому в течение всей моей жизни была не только инстинктивной. Этот человек обладал всеми теми качествами, которые меня всегда привлекали в людях. Насколько я презираю бездарную претенциозность, настолько же преклоняюсь искренне перед талантом, серьезным и искренним. Горький восхищал меня своим выдающимся литературным талантом. Все, что он написал о русской жизни, так мне знакомо, близко и дорого, как будто при всяком рассказанном им факте я присутствовал лично сам.

Я уважаю в людях знание. Горький так много знал! Я видал его в обществе ученых, философов, историков, художников, инженеров, зоологов и не знаю еще кого. И всякий раз, разговаривая с Горьким о своем специальном предмете, эти компетентные люди находили в нем как бы одноклассника. Горький знал большие и малые вещи с одинаковой полнотой и солидностью. Если бы я, например, вздумал спросить Горького, как живет снегирь, то Алексей Максимович мог рассказать мне о снегире такие подробности, что, если бы собрать всех снегирей за тысячелетия, они этого о себе знать не мог-*

* Так в тексте (Д. Т.)

Добро есть красота, и красота есть добро. В Горьком это было слито. Я не мог без восторга смотреть на то, как в глазах Горького блеснули слезы, когда он слышал красивую музыку или любовался истинно художественным произведением живописца.

Помню, как Горький высоко понимал призвание интеллигента. Как-то в одну из вечеринок у какого-то московского писателя, в домике во дворе на Арбате, в перерывах между пением Скитальца под аккомпанемент гуслей и чарочками водки с закуской, завели писатели спор о том, что такое, в сущности, значит интеллигент? По разному отзывались присутствующие писатели-интеллигенты. Одни говорили, что это человек с особыми интеллектуальными качествами, другие говорили, что это человек особенного душевного строя и проч. и проч. Горький дал свое определение интеллигента, и оно мне запомнилось:

— Это человек, который во всякую минуту жизни готов встать впереди всех с открытой грудью на защиту правды, не щадя даже своей собственной жизни.

Не ручаюсь за точность слов, но смысл передаю точно. Я верил в искренность Горького и чувствовал, что это не пустая фраза. Не раз я видел Горького впереди всех с открытой грудью...

Помню его больным, бледным, сильно кашляющим под охраной жандармов в поезде на московском вокзале. Это Горького ссылали куда-то на север. Мы, его друзья, провожали его до Серпухова. В Серпухове больному дали возможность отдохнуть, переспать в постели. В маленькой гостинице, под наблюдением тех же жандармов, мы провели с ним веселый прощальный вечер. Веселый, потому что физические страдания мало Горького смущали, как мало смущали его жандармы и ссылка. Жила вера в дело, за которое он страдал, и это давало всем нам бодрость — в нас, а не в Горьком, омраченную жалостью к его болезни... Как беззаботно и весело смеялся он над превратностями жизни и как мало значения придавали мы факту физического ареста нашего друга, зная, сколько в нем внутренней свободы...

Помню, как он был взволнован и бледен в день 9 января 1905 года, когда, ведомые Гапоном, простые русские люди пошли к Зимнему дворцу на коленях просить царя о свободе и в ответ на простодушную мольбу получили от правительства свинцовые пули в грудь:

— Невинных людей убивают, негодяи!

И хотя в этот самый вечер я пел в Дворянском Собрании, одна у меня была тогда с Горьким правда.

Понятно, с какой радостной гордостью я слушал от Горького ко мне обращенные слова:

Что бы мне про тебя ни говорили плохого, Федор, я никогда не поверю. Не верь и ты, если тебе скажут что-нибудь плохое обо мне.

И еще помню:

— Как бы дороги наши когда-нибудь ни разошлись, я тебя буду любить. Даже твоего Сусанина любить не перестану.

И, действительно, любовь Горького, его преданность мне, его доверие я много раз в жизни испытал. Крепко держал свое слово Горький.

Когда я во время большевистской революции, совестясь покинуть родную страну и мучаясь сложившейся обстановкой жизни и работы, после долгой внутренней борьбы решил, в конце концов, перебраться за рубеж, я со стороны Горького враждебного отношения к моему решению не заметил...

Я уже прожил порядочное время за границей, как однажды получил письмо от Горького с предложением вернуться в Советский Союз. Вспоминая, как мне было там тяжело жить и работать и не понимая, почему изменилось мнение Алексея Максимовича, я ему ответил, что ехать в Россию мне сейчас не хотелось бы. И выяснил откровенно причины. Писал я об этом Горькому на Капри. Конечно, Алексей Максимович в это время уже съездил в Россию и, вероятно, усмотрел для меня новую, определенную возможность там жить и работать. Но я в эту возможность, каюсь, не поверил. Так, временно вопрос о моем отношении к возвращению в Россию повис в воздухе. Горький к нему не возвращался. Однако позже, когда мне случилось быть в Риме (я там пел спектакли), я

встретился с Горьким лично. Все еще дружески, Алексей Максимович мне снова тогда сказал, что *н е о б х о д и м о*, чтобы я ехал на родину. Я снова и более решительно отказался, сказав, что ехать туда не хочу. Не хочу потому, что не имею веры в возможность для меня там жить и работать, как я понимаю жизнь и работу. И не то, что я боюсь кого-нибудь из правителей или вождей в отдельности, я боюсь, так сказать, всего уклада отношений, боюсь "аппарата"... Самые лучшие намерения в отношении меня любого из вождей могут остаться праздными. В один прекрасный день, какое-нибудь собрание, какая-нибудь коллегия могут уничтожить все, что мне обещано. Я, например, захочу поехать за границу, а меня оставят, заставят, и нишкни — никуда не выпустят. А там ищи виноватого, кто подковал зайца. Один скажет, что это от него не зависит, другой скажет: "вышел новый декрет", а тот, кто обещал и кому поверил, разведет руками и скажет:

— Батюшка, это же революция, пожар? Как вы можете претендовать на меня?..

Алексей Максимович, правда, ездит туда и обратно, но он же действующее лицо революции. Он вождь. А я? Я не коммунист, не меньшевик, не социалист-революционер, не монархист и не кадет, и вот, когда *т а к* ответишь на вопросы, кто ты? — тебе и скажут:

— А вот потому именно, что ты ни то, ни се, а черт знает что, то и сиди, сукин сын, на Пресне... А по разбойному характеру моему я очень люблю быть свободным, и никаких приказаний — ни царских, ни комиссарских — не переносу.

Я почувствовал, что Алексею Максимовичу мой отказ не очень понравился. И когда я потом, вынужденный к тому бесцеремонным отношением советской власти к моим законным правам даже за границей, сделал из моего решения не возвращаться в Россию все логические выводы и "дерзнул" эти мои права защитить, то по нашей дружбе прошла глубокая трещина. Среди немногих потерь и нескольких разрывов последних лет, не скрою, и с волнением это говорю — потеря Горького для меня одна из самых тяжелых и болезненных.

Я думаю, что чуткий и умный Горький мог бы при желании менее пристрастно понять мои побуждения в этом вопросе. Я, со своей стороны, никак не могу предположить, что этот человек мог бы действовать под влиянием низких побуждений. И все, что в последнее время случилось с моим милым другом, я думаю, имеет какое-то неведомое ни мне, ни другим объяснение, соответствующее его личности и его характеру.

Что же произошло? Произошло, оказывается, то, что мы вдруг стали различно понимать и оценивать происходящее в России. Я думаю, что в жизни, как в искусстве, двух правд не бывает — есть только одна правда. Кто этой правдой обладает, я не смею решить. Может быть, я, может быть, Алексей Максимович. Во всяком случае, на общей нам правде прежних лет мы уже не сходимся.

Я помню, например, с каким приятным трепетом я однажды слушал, как Алексей Максимович восхищался И.Д.Сытиным.

— Вот это человек! — говорил он с сияющими глазами. — Подумать только, простой мужик, а какая сметка, какой ум, какая энергия и куда метнул!

Действительно, с чего начал и куда метнул. И ведь все эти русские мужики, Алексеевы, Мамонтовы, Сапожниковы, Сабашниковы, Третьяковы, Морозовы, Щукины — какие все это козыри в игре нации. Ну, а теперь это — кулаки, вредный элемент, подлежащий беспощадному искоренению!.. А я никак не могу отказаться от восхищения перед их талантами и культурными заслугами. И как обидно мне знать теперь, что они считаются врагами народа, которых надо бить, и что эту мысль, оказывается, разделяет мой первый друг Горький...

Я продолжаю думать и чувствовать, что свобода человека в его жизни и труде — величайшее благо. Что не надо людям навязывать насилу счастье. Не знаешь, кому какое счастье нужно. Я продолжаю любить свободу, которую мы когда-то крепко любили вместе с Алексеем Максимовичем Горьким...

НА ЧУЖБИНЕ

1

В мрачные дни моей петербургской жизни под большевиками мне часто снились сны о чужих краях, куда тянулась моя душа. Я тосковал о свободной и независимой жизни.

Я получил ее. Но часто, часто мои мысли несутся назад, в прошлое, к моей милой родине. Не жалею я ни денег, конфискованных у меня в национализированных банках, ни о домах в столицах, ни о земле в деревне. Не тоскую я особенно о блестящих наших столицах, ни даже о дорогих моему сердцу русских театрах. Если, как русский гражданин, я вместе со всеми печалюсь о временной разрухе нашей великой страны, то как человек, в области личной и интимной, я грущу по временам о русском пейзаже, о русской весне, о русском снеге, о русском озере и лесе русском. Грущу я иногда о простом русском мужике, том самом, о котором наши утонченные люди говорят столько плохого, что он и жаден, и груб, и невоспитан, да еще и вор. Грущу о неповторимом tone часто нелепого уклада наших суконных слобод, о которых я сказал немало жестокой правды, но где все же между трущоб растет сирень, цветут яблони и мальчишки гоняют голубей...

Россия мне снится редко, но часто наяву я вспоминаю мою летнюю жизнь в деревне и приезд в гости московских друзей. Тогда это все казалось таким простым и естественным. Теперь это представляется мне характерным сгустком всего русского быта.

Да, признаюсь, была у меня во Владимирской губернии хорошая дача. И при ней было триста десятин земли. Втроем строили мы этот деревенский мой дом. Валентин Серов, Константин Коровин и я. Рисовали, планировали, наблюдали, украшали. Был архитектор, некий Мазырин, — по дружески мы звали его Анчуткой. А плотником был всеобщий наш любимец крестьянин той же Владимирской губернии — Чесноков. И дом же был выстроен! Смешной, по-моему, несуразный какой-то, но уютный, приятный; а благодаря добросовестным

лесоторговцам, срублен был — точно скован из сосны, как из красного дерева.

И вот глубокой осенью получаешь, бывало, телеграмму от московских приятелей: "Едем, встречай". Встречать надо рано утром, когда уходящая ночь еще плотно и таинственно обнимается с большими соснами. Надо перебраться через речку — мост нечаянно сломан, и речка еще совершенно чернильная. На том берегу речки стоят уже и ждут накануне заказанные два экипажа с Емельяном и Герасимом. Лениво встаешь, неохотно одеваешься, выходишь на крыльцо, спускаешься к реке, берешь плоскодонку и колом отталкиваешься от берега... Тарантас устлан пахучим сеном. Едешь восемь верст на станцию. В стороне от дороги стоит огромный Феклин бор с вековыми соснами, и так уютно, тепло сознать, что ты сейчас не в этом лесу, где холодно и жутко, а в тарантасе, укутанный в теплое драповое пальто. И едешь ты на милой лошаденке, которую зовут Машкой. Как любезно понукает ее Герасим.

— Ну, ну, Машка-а! Не подгаживай, не выявляй хромоты.

Машка старалась, и как будто легонько ржала в ответ.

И вот станция. Рано. На вокзале зажжены какие-то лампы керосиновые; за дощатой тонкой стеной время от времени трещит выстукивая телеграф. Кругом еще сизо. На полу лежат, опершись на свои котомки, какие-то люди. Кто-то бормочет что-то во сне. Кто-то потягивается. Время от времени кто-то скрипит дверью, то выходя, то входя. Но вот вдруг та самая дверь, что только что скрипела сонно, начинает скрипеть веселее. Входит какой-то озабоченный человек на кривых ногах, с фонарем в руке, и через спящих людей пробивается в телеграфную комнату, откуда слышится:

— Через шесть?

И человек с фонарем, вбегая в зал, громко кричит:

— Эй, эй, вставай! Идет!

Люди начинают шевелиться. Кто встает, кто зеваает, кто кашляет, кто шепчет: "Господи Иисусе!..." Зал ожил.

Белеет окно. Делаются бледнее и бледнее лица. Лохмотья пассажиров выступают заметнее и трезвее... Слышен глу-

хой далекий свисток,.. Человек с фонарем на кривых ногах подбегает к колоколу.

— Трым, трым, трым!..

Люди совсем ожили. Кто-то, откашлявшись, напевно пробурчал: "Яко да за царя всех подыдем..."

А там уже разрезан молочный туман расплывчатыми лучами еще не показавшегося солнца, и тускло, как всегда перед солнцем, вдали мелькнули огни паровоза.

Едут! И приезжают московские гости, и среди них старший — Савва Иванович Мамонтов.

Нигде в мире не встречал я ни такого Герасима, ни такого бора, ни такого звонаря на станции. И вокзала такого нигде в мире не видел, из изношенно-занозистого дерева срубленного... При входе в буфет странный и нелепый висит рукомойник... А в буфете, под плетеной сеткой — колбаса, яйцо в черненьких точках и бессмертные мухи...

Милая моя, родная Россия!..

2

"На чужбине" — написал я в заголовке этих заключительных глав моей книги. Написал и подумал: какая же это чужбина? Ведь все, чем духовно живет западный мир, мне, и как артисту, и как русскому, бесконечно близко и дорого. Все мы пили из этого великого источника творчества и красоты. Я люблю русскую музыку и мою горячую любовь на этих страницах высказывал. Но разве этим я хотел сказать, что западная музыка хуже русской? Вещи могут быть по различному прекрасны. Если в западной музыке, на мой взгляд, отсутствует русская сложность и крепкая интимная суковатость, то в западной музыке есть другие, не менее высокие достоинства. Ведь по различному прекрасны и творения западной музыки. Есть мир Моцарта и есть мир Вагнера. Каким объективным инструментом можно точно измерить сравнительное величие каждого из них? А чувством всякий может предпочтительно тяготеть к Моцарту или Вагнеру. Интимные мотивы такого предпочтения могут быть различные, но самый наивный из них, однако, субъективно убедителен.

Лично я определил бы мое восприятие Вагнера и Моцарта в такой, например, несколько парадоксальной форме. Я воображаю себя юным энтузиастом музыки с альбомом автографов любимых музыкантов. Я готов душу отдать за автограф Вагнера или Моцарта. Я набираюсь храбрости и решаю пойти за автографом к тому и другому.

Я разыскал дом Вагнера. Это огромное здание из мощных кубов железного гранита. Монументальный вход. Тяжелые дубовые двери с суровой резьбой. Я робко стучусь. Долгое молчание. Наконец, дверь медленно раскрывается, и на пороге показывается мажордом в пышной ливрее, высокомерно окидывающий меня холодными серыми глазами из-под густых бровей:

— Was wollen Sie?

— Видеть господина Вагнера.

Мажордом уходит. Я уже трепещу от страха. Прогонят. Но нет — меня просят войти. В сумрачном вестибюле из серого мрамора величественно и холодно. На пьедесталах, как скелеты, рыцарские доспехи. Вход во внутреннюю дверь по обеим сторонам стерегут два каменных кентавра. Вхожу в кабинет г. Вагнера. Я подавлен его просторами и высотой. Статуи богов и рыцарей. Я кажусь себе таким маленьким. Я чувствую, что свершил великую дерзость, явившись сюда. Выходит Вагнер. Какие глаза, какой лоб! Жестом указывает мне на кресло, похожее на трон.

— Was wollen Sie?

Я трепетно, почти со слезами на глазах говорю:

— Вот у меня альбомчик... Автографы.

Вагнер улыбается, как луч через тучу, берет альбом и ставит свое имя.

Он спрашивает меня, кто я.

— Музыкант.

Он становится участливым, угощает меня: важный слуга вносит кофе. Вагнер говорит мне о музыке вещи, которых я никогда не забуду... Но когда за мною тяжело закрылась монументальная дубовая дверь и я увидел небо и проходящих мимо простых людей, мне почему-то стало радостно — точно с души упала тяжесть, меня давившая...

Я разыскиваю дом Моцарта. Домик. Палисадник. Дверь открывает мне молодой человек.

— Хочу видеть господина Моцарта.

— Это я. Пойдемте... Садитесь! Вот стул. Вам удобно?.. Автограф?.. Пожалуйста. Но что же стоит мой автограф?.. Подождите, я приготовлю кофе. Пойдемте же на кухню. Поболтаем, пока кофе вскипит. Моей старушки нет дома. Ушла в церковь. Какой вы молодой!.. Влюблены? Я вам сыграю потом безделицу — мою последнюю вещицу.

Текут часы. Надо уходить: не могу — очарован. Меня очаровала свирель Моцарта, поющая весеннему солнцу на опушке леса... Грандиозен бой кентавров у Вагнера. Великая, почти сверхчеловеческая в нем сила... Но не влекут меня копья, которыми надо пронзить сердце для того, чтобы из него добыть священную кровь.

Моему сердцу, любящему Римского-Корсакова, роднее свирель на опушке леса...

Надо только помнить, что законное право личного пристрастия к одному типу красоты и величия не исключает преклонения перед другим.

3

Не может быть, "чужбиной" для русского и европейский театр. Его славная история -- достояние всего культурного человечества и производит впечатление подавляющего величия. Его Пантеон полон теней, священных для всякого актера на земле. Никогда не забуду вечера в Москве, хотя это было больше тридцати лет назад, когда на сцене нашего Малого театра впервые увидел великого европейского актера. Это был Томазо Сальвини. Мое волнение было так сильно, что я вышел в коридор и заплакал. Сколько с того времени пережил я театральных восторгов, которыми я обязан европейским актерам и актрисам. Дузе, Сара Бернар, Режан, Муне-Сюлли, Поль Муни, Люсьен Гитри, Новелли и этот несравненный итальянский комик Фаравелла, в десятках вариаций дающий восхитительный тип наивного и глупого молодого

человека... Как-то случилось, что мне не суждено было лично видеть на сцене знаменитых немецких артистов, но Мейнингенцы, но труппа Лессинг-театра, театров Рейнгадта, венского Бург-театра вошли в историю европейской сцены en bloc, как стройные созвездья. Кайнц и Барнай в прошлом, Бас-серман и Палленберг в настоящем резюмируют чрезвычайно высокую театральную культуру.

Молодая Америка, только что, в сущности, начавшая проявлять свою интересную индивидуальность, уже дала актеров высокого ранга — достаточно упомянуть своеобразную семью Барриморов...

Изумительный Чарли Чаплин, принадлежащий обоим полушариям, переносит мою мысль в Англию — Ирвинг, Эллен Терри, Сорндик... Каждый раз, когда в Лондоне я с благоговением снимаю шляпу перед памятником Ирвинга, мне кажется, что в лице этого великого актера я кладу поклон всем актерам мира. Памятник актеру на площади!.. Это ведь такая великая редкость. В большинстве случаев, актерские памятники, в особенности у нас, приходится искать на забытых кладбищах...

Будучи в Лондоне, я однажды имел удовольствие встретиться с несколькими выдающимися представительницами английской сцены. Это было за завтраком у Бернарда Шоу, который вздумал собрать за своим столом в этот день исключительно своих сверстниц по возрасту...

Меня расспрашивали о знаменитых русских актерах и актрисах. Я рассказывал, называя имена, и, к сожалению, каждый раз вынужден был добавлять: "Умер" или "Умерла".

Невозможный Шоу самым серьезнейшим тоном заметил:

— Как у вас все это хорошо устроено. Жил, работал и умер, жила, играла и умерла... А у нас!..

И он широким движением руки указал на всю старую гвардию английской сцены, сдающуюся, но не умирающую...

С полдюжины пальцев одновременно дружески пригрозили знаменитому остро слову.

Все эти волшебники европейской сцены обладали теми качествами, которые я так возносил в старом русском актер-

стве: глубокой правдой выражения человеческих чувств и меткостью сценических образов. Когда Люсьен Гитри, например, играл огорченного отца, то он передавал самую сердцевину данного положения. Он умел говорить без слов. Нервно поправляя галстук, Гитри одним этим жестом, идущим от чувства, независимо от слова, сообщал зрителю больше, чем другой сказал бы в длинном монологе. Недавно я видел Виктора Буше в роли метрдотеля. Не помню, чтоб когда-нибудь, в жизни или на сцене, я видел более типичного, более подлинного метрдотеля.

Мне кажется, что западные актеры обладают одним ценным качеством, которым не всегда наделены русские актеры, а именно — большим чувством меры и большей пластической свободой. Они предстают публике, я бы сказал, в более благородном одеянии. Но, как правильно говорят французы, всякое достоинство имеет свои недостатки, и всякий недостаток имеет свои достоинства. Русские актеры зато наделены гораздо большей непосредственностью и более яркими темпераментами.

Должен признать с сожалением, что настоящих оперных артистов я за границей видел так же мало, как и в России. Есть хорошие и даже замечательные певцы, но вокальных художников, но оперных артистов в полном смысле этого слова нет. Я не отрицаю, что западной музыке более чем русской, сродни кантиленное пение, при котором техническое мастерство вокального инструмента имеет очень большое значение. Но всякая музыка всегда так или иначе выражает чувства, а там, где есть чувство, механическая передача оставляет впечатление страшного однообразия. Холодно и протокольно звучит самая эффектная ария, если в ней не разработана интонация фразы, если звук не окрашен необходимыми оттенками переживаний. В той интонации вздоха, которую я признавал обязательной для передачи русской музыки, нуждается и музыка западная, хотя в ней меньше, чем в русской, психологической вибрации. Этот недостаток — жесточайший приговор всему оперному искусству.

4

Это сознание у меня не ново. Оно мучило меня долгие годы еще в России. Играю я Олоферна и стараюсь сделать что-то похожее на ту эпоху. А окружающие меня? А хор ассирийцев, вавилонян, иудеев, вообще все Олоферна окружающие люди? Накрашивали себе лица коричневой краской, привешивали себе черные бороды и надевали тот или другой случайный костюм. Но ведь ничто это не заставляло забыть, что эти люди накушались русских щей только что, перед спектаклем. Вот и теперь, вспоминая, сколько лет, сколько сезонов прошло в моей жизни, сколько ролей сыграл, грустных и смешных, в разных театрах всего мира. Но это были мои роли, а вот театра моего не было никогда, нигде. Настоящий театр не только индивидуальное творчество, а и коллективное действие, требующее полной гармонии всех частей. Ведь для того, чтобы в опере Римского-Корсакова был до совершенства хороший Сальери, нужен до совершенства хороший партнер — Моцарт. Нельзя же считать хорошим спектаклем такой, в котором, скажем, превосходный Санчо Панса и убогий Дон Кихот. Каждый музыкант в оркестре участвует в творении спектакля, что уж говорить о дирижере! И часто я искренне отчаивался в своем искусстве и считал его бесплодным. Меня не утешала и слава. Я знаю, что такое слава, — я ее испытал. Но это как бы неразгрызанный орех, который чувствую на зубах, а вкуса его небом ощутить не могу... Какую реальную радость дает слава, кроме материальных благ и иногда приятных удовлетворений житейского тщеславия? Я искренне думал и думаю, что мой талант, так великодушно признанный современниками, я наполовину зарыл в землю, что Бог отпустил мне многое, а сделал я мало. Я хорошо пел. Но где мой театр?

Как раз в то время, когда я был озабочен этими думами, я в Париже в бюро г.Астриюка познакомился с итальянским поэтом Габриелем Д'Аннунцио. На меня произвело большое впечатление лицо этого человека с острыми умными глазами, огромным лбом и заостренной бородкой. Во внешних чертах проступала внутренняя острота, мимо которой нельзя было

пройти равнодушно. В Париже он создавал тогда для Иды Рубинштейн "Муки св. Себастьяна". Я пошел в театр Шатле посмотреть этот спектакль и на представлении понял, какой это интересный и оригинальный творец. От каждой сцены, от каждой реплики, от всего настроения произведения веяло свежестью и силой. При следующей встрече с Д'Аннунцио я решился поделиться с ним моими мечтами о театре, откуда был бы беспощадно изгнан шаблон и где все искусства сочетались бы в стройной гармонии. Я был очень счастлив, когда Д'Аннунцио сказал мне о своем горячем сочувствии моей мысли. "В будущем году, — сказал он мне, — мы встретимся и попробуем осуществить то, о чем вы мечтаете".

Разговор этот происходил в мае 1914 года, а в августе разразилась война. Мой великолепный летчик духа скоро на реальном аэроплане улетел в Фиумэ, устремившись в противоположную сторону от нашей мирной мечты.

Радостно было мне встретить на моем жизненном пути такого замечательного поэта, как д'Аннунцио, но тем более было мне жалко, что не осуществилось наше сотрудничество. И под влиянием этого разочарования я самостоятельно задумал в России дело, которое я считал основным делом моей жизни. Я согрел мечту, которая была мне дороже всего. Я решил посвятить и мои материальные средства, и мои духовные силы на создание в России интимного центра не только театрального, но и вообще — искусства. Мне мечталась такая уединенная обитель, где, окруженный даровитыми и серьезными молодыми людьми, я бы мог практически сообщить им весь мой художественный опыт и жар мой к благородному делу театра. Я желал собрать в одну группу молодых певцов, музыкантов, художников и в серьезной тишине вместе с ними, между прочей работой, работать над созданием идеального театра. Я желал окружить этих людей также и красотой природы, и радостями обеспеченного уюта.

Есть в Крыму, в Суук-Су, скала у моря, носящая имя Пушкина. На ней я решил построить з а м о к искусства. Именно з а м о к. Я говорил себе: были замки у королей и рыцарей, отчего не быть замку у артистов? С амбразурами, но не для смертоносных орудий.

Я приобрел в собственность Пушкинскую скалу, заказал архитектору проект замка, купил гобелены для убранства стен.

Мечту мою я оставил в России разбитой... Недавно я с грустью наткнулся на один ее обломок. В одной лондонской газете была напечатана фотография какого-то замка, а под ней была подпись: "Подарок Советского правительства Ф.И.Шалюпину". Присмотрелся: проект замка, выработанный архитектором по моему заказу. Вероятно, он где-нибудь его выставил и вот — "подарок Советского правительства"!..

Иногда люди говорят мне: еще найдется какой-нибудь благородный любитель искусства, который создаст вам в а ш театр. Я их в шутку спрашиваю:

— А где он возьмет Пушкинскую скалу?

Но это, конечно, не шутка. Моя мечта неразрывно связана с Россией, с русской талантливой и чуткой молодежью. В каком-нибудь Огайо или на Рейне этот замок искусства меня не так прельщает. Что же касается "благородных любителей искусства" — не могу надивиться одному парадоксальному явлению. Я знаю людей, которые тратят на оперу сотни тысяч долларов в год — значит, они должны искренне и глубоко любить театр. А искусство их — ersatz самый убогий. Сезон за сезоном, год за годом, в прошлый, как и в последующий, — все в их театрах трафаретно и безжизненно. И так будет через пятьдесят лет. Травиата и Травиата. Фальшивые актеры, фальшивые реноме, фальшивые декорации, фальшивые ноты — дешевка бездарного пошиба. А между тем, эти же люди тратят огромные деньги на то, чтобы приобрести подлинного Рембрандта, и с брезгливой миной отворачиваются от того, что не подлинно и не первокласно. До сих пор не могу решить задачи — почему в картинной галерее должен быть подлинник и непременно шедевр, а в дорогом же стоящем театре — подделка и третий сорт? Неужели потому, что живопись в отличие от театра представляет собою не только искусство, но и незыблемую валютную ценность?..

И вспоминается мне Мамонтов. Он тоже тратил деньги на театр и умер в бедности, а какое благородство линий, какой

просвещенный, благородный фанатизм в искусстве! А ведь он жил в "варварской" стране и сам был татарского рода.

Мне не хочется закончить мою книгу итогов нотой грусти и огорченности. Мамонтов напомнил мне о светлом и творческом в жизни. Я не создал своего театра. Придут другие — создадут.

Искусство может пережить времена упадка, но оно вечно, как сама жизнь.

8 марта 1932 г.
Париж

НОВАЯ КНИГА

ВАДИМ БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ САМОУПРАВЛЕНИЕ (Предисловие Иржи Пеликана)

«В пестром спектре направлений и взглядов советского инакомыслия Вади́м Белоцерковский представляет собой исключительное явление: в центре его внимания стоят идеи самоуправления, "инженерно-рабочий класс", — пишет И. Пеликан в предисловии. Этим идеям в сопоставлении со взглядами "Солидарности" и Пражской весны посвящена книга. Анализируется также опыт реально существующих на Западе самоуправляющихся, рабочим принадлежащих предприятий. Ну и конечно, думам о судьбе России (и самоуправления в России) посвящены многие страницы книги.

По поводу идей книги (по первой еще редакции) академик Сахаров сказал (1976 г.) «Это некий конкретный аспект здоровой конвергенции. Она (эта книга) очень хорошая и интересная».

Германия, 1985.

170 стр

26.00 ДМ

ПЕРЕСЫЛКА ЗА СЧЕТ ЗАКАЗЧИКА

Вышел из печати наш новый сводный большой каталог 1985/86 Объем 380 стр
Высылается бесплатно по первому требованию заказчика



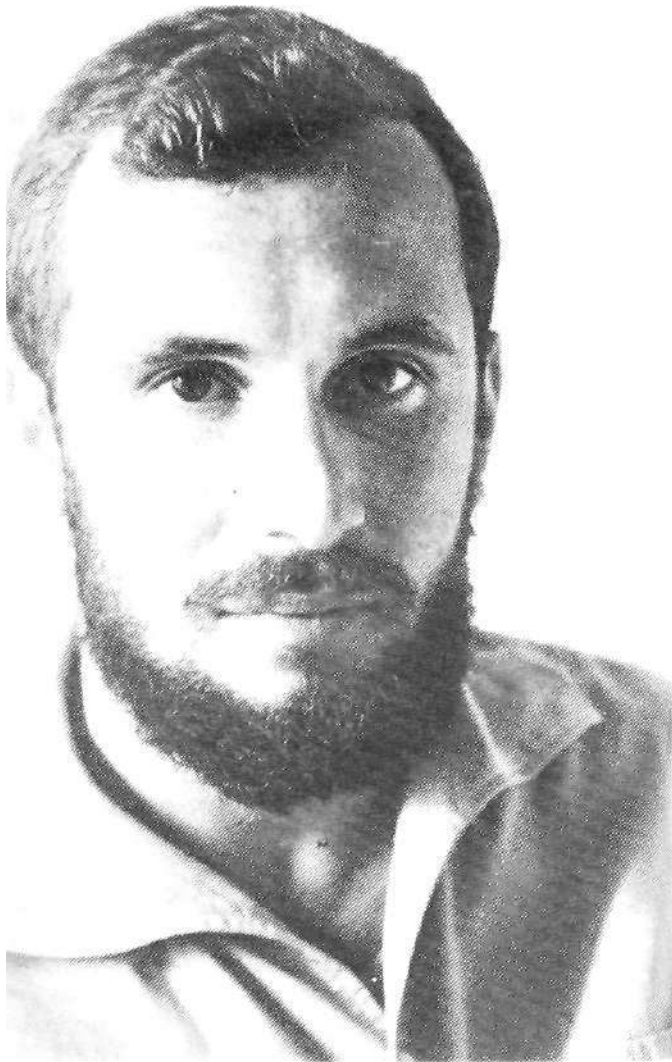
A. Neimanis • Buchvertrieb
Bauerstr. 28 • 8000 München 40 • Germany

КНИГИ ЛОНДОНСКОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА ORI

- Владимир ВОЙНОВИЧ.** Трибунал. Судебная комедия в 3-х действиях. Юмор и сатира на высоком художественном уровне. 76 стр. — 2 ф.ст.
- Вольфганг ЛЕОНГАРД.** Революция отвергает своих детей. 590 с. — 7 ф.ст.
- Михаил ВОСЛЕНСКИЙ.** Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза. Предисловие Милована Джиласа. 556 с. — 12 ф.ст.
- Ален БЕЗАНСОН.** Русское прошлое и советское настоящее. Перевод с франц. А. Бабича. Предисловие М. Геллера. 388 с. — 7 ф.ст.
- Вадим ДЕЛОНЕ.** Портреты в колючей раме. Предисловие В.Буковского. 217с. — 4.50ф.ст.
Книге присуждена премия им.Даля за 1984 г.
- Павел ТИГРИД.** Рабочие против пролетарского государства. Сопротивление в Восточной Европе со смерти Сталина до наших дней. Перевод с франц. В.Рыбакова. 176 с. — 4 ф.ст.
- Евгений НИКОЛАЕВ.** Предавшие Гиппократа. 328 с. — 8ф. ст.
- Книга представляет собой ценное свидетельство о злоупотреблении психиатрией в борьбе с инакомыслящими.
- Сергей СОЛДАТОВ.** Зарницы возрождения. Опыт политической борьбы и нравственного просветительства. Предисловие А.Авторханова. Вст. статья Мартина Дьюхерста. 464 с. — 10ф.ст.
- Жорж НИВА.** Солженицын. Перевод с франц. С.Маркиша в сотрудничестве с автором. 248 с. Альбом фотографий, библиография — 8 ф.ст.
- Михаил ГЕЛЛЕР.** Машина и винтики. История формирования советского человека. 320 с. — 8 ф.ст.
- Дора ШТУРМАН.** Мертвые хватают живых. Читая Ленина, Бухарина и Троцкого. 380 с— 9 ф.ст.
- Анатолий ФЕДОСЕЕВ.** О новой России. Альтернатива. 335 с. — 7.50 ф. ст.
- Феликс РОЗИНЕР.** Некто Финкельмайер. 600 с. — 6 ф.ст. в мягком переплете, 7.50 ф.ст.— в твердом.
Книга удостоена премии им. Даля за 1980 г.

КНИГИ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ВО ВСЕХ РУССКИХ
КНИЖНЫХ МАГАЗИНАХ И В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ:
Overseas Publications Interchange Ltd. 8, Queen Anne's Gardens,
London W4 1TU, England
ТРЕБУЙТЕ БЕСПЛАТНО НАШ НОВЫЙ КАТАЛОГ

АРЕСТОВАН ЛЕВ ТИМОФЕЕВ



По сообщению информационного агентства "Вести из СССР" во второй половине марта 1985 года в Москве арестован экономист Лев Михайлович Тимофеев, автор эссе "Последняя надежда выжить", опубликованного в 75-77-м номерах нашего журнала, а также пьесы "Москва. Моление о чаше", напечатанной в 79-м номере.

Оба эти произведения принесли автору широкую популярность — вначале в самиздате, в СССР, а затем, после публикации в журнале

"Время и мы", среди многочисленных читателей на Западе. Своими произведениями Лев Тимофеев, один из талантливейших неподцензурных публицистов России, бросил смелый вызов советскому режиму и, как можно было ожидать, последовала расправа.

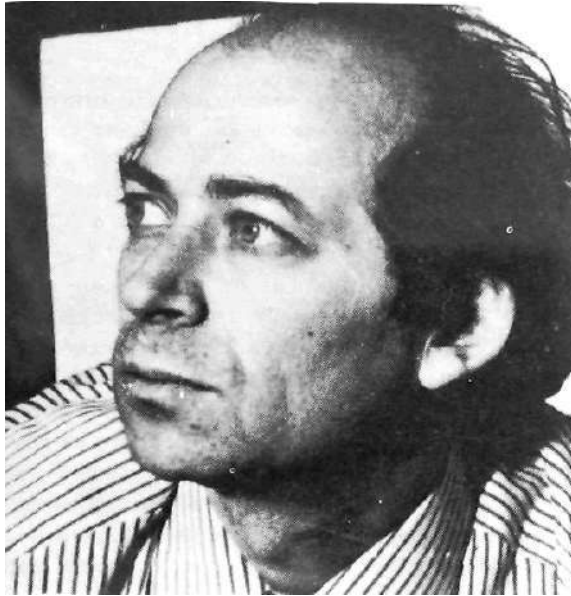
Лев Михайлович Тимофеев родился в 1936 году и в 1960 году окончил Институт внешней торговли, впоследствии слившийся с Институтом международных отношений. Он много писал в советской прессе ("Молодой коммунист", "Молодая гвардия", "Советская женщина" и др.), был кандидатом в члены КПСС, работал в штате журнала "Молодой коммунист".

В конце 1978 г. Лев Тимофеев внезапно порвал все связи со своим прежним окружением и с тех пор работал на случайных работах (был матросом на траулере, товароведом, рабочим, давал частные уроки и т.п.). Много времени проводил в дер. Желанное Калужской области, где им был написан ряд крупных социально-экономических эссе, распространявшихся в самиздате. Два эссе были опубликованы за рубежом: "Технология черного рынка или крестьянское искусство голодать" ("Русское возрождение", № 11-13), "Последняя надежда выжить" ("Время и мы", № 75-77). Оба эссе были подписаны его собственным именем, хотя многие ошибочно считали его псевдонимом. По-видимому, именно эти публикации и ставятся сейчас в вину Льву Тимофееву, хотя точная статья УК, по которой он обвиняется, пока неизвестна.

В своем эссе "Последняя надежда выжить", поражающем оригинальностью мышления и глубиной анализа, Лев Тимофеев пишет о нравственном банкротстве системы, о бессилии мертвой коммунистической доктрины перед живой жизнью и нераздавленным здравым смыслом. "Мы слепые — это так! Мы не знаем названий многим очевидным истинам — их стерла пропаганда — это так! Во многих случаях нам приходится заново, каждому в одиночку искать путь к здравому смыслу — это так! Но мы находим этот путь и восстанавливаем истинные значения событий, явлений, истину самой жизни..."

Написанная незадолго перед арестом пьеса "Москва. Моление о чаше" сегодня в свете ареста ее автора приобретает особое звучание. Рассказывая о драме некой диссидентской семьи, эта вещь, глубоко автобиографична. С особой художественной силой перед нами предстают переживания и личная трагедия самого автора, ожидающего со дня на день ареста.

Расправа со Львом Михайловичем Тимофеевым налагает особый долг на редакцию журнала "Время и мы", где опубликованы наиболее талантливые и наиболее смелые его вещи. Поэтому мы обращаемся с призывом ко всем нашим читателям — на всех четырех континентах, ко всем, кому дорога свобода и демократические идеалы, поднять голос в защиту Льва Тимофеева.



МИССИЯ И ДОЛГ ХУДОЖНИКА

"Родился в 1933 году между молотом и наковальней. Мокрого от прошлых, настоящих и будущих слез своего народа, автора хорошо продуло ветрами нашей великой эпохи. Поэтому он до сих пор кашляет с еврейским акцентом", — так Михаил Туровский говорит о себе в своей недавно вышедшей книжке "Зуд мудрости". Трудно сказать, что выглядит более фантастичным, — то, что создает художник на полотне или его личная судьба. Собственно, вся официальная биография осталась там, где он имел признание и известность, был участником пятидесяти выставок, проиллюстрировал около двухсот книг. Оттуда не дали вывезти ничего, кроме "зуда мудрости", да еще, может быть, памяти о Бабьем Яре, неподалеку от которого он родился.

Память — это невидимый мост в прошлое. Из глубин памяти художник черпает свои идеи. Теперь уже трудно определить, где и когда именно родилась эта идея, — там ли в России, где с первых лет жизни он "кашлял с еврейским акцентом", или уже здесь, в Нью-Йорке, а может быть, зрела она в нем всю жизнь — идея воссоздать во всей глубине и величии самую трагическую страницу в истории еврейского народа — Холокост.

Сегодня это главная идея его жизни. В ее реализации он видит свою миссию, свой долг. Впрочем, он не говорит этих выпренных слов — "долг", "миссия" (по-моему, изъясняться красиво вообще противно его натуре). Ему просто кажется, что если эту сложную задачу не выполнит он, то этого не сделает никто. И похоже, есть у

него право так говорить после того, как создано более сотни огромных холстов на тему Холокоста, которые могли бы стать гордостью любого современного музея.

Мастерская Михаила Туровского — это маленькая квартирка в Бронксе, предоставленная ему для работы его родственницей. Художник ничего не продает, нигде не выставляется и в отличие от своих многих эмигрантских собратьев не рвется к дешевой славе. Похоже, что все эти пышные, богатые галереи на Мэдисон авеню, эти модные, бойко раскупаемые абстракционисты, да и весь этот сытый, благополучный мир, готовый предать забвению все, что будоражит совесть, — все это в глазах художника суeta суeta. Подлинное искусство создается в тиши. Искусство, если оно истинное, призвано отражать глубину человеческих страданий, — считает Михаил Туровский. С холстов художника, одетые то ли в саван, то ли в тюремную робу, то ли из-за колючей проволоки, то ли из-за крестообразного, заколоченного окна тюрьмы, то ли уже из газовой камеры, смотрят на нас приговоренные к смерти жертвы Холокоста. О чем говорят их взгляды? Сорок прошедших после войны лет сделали свое дело — наш благоденствующий мир все реже вспоминает случившееся. Шесть миллионов погибших евреев... Что все это значит — для нас, для наших детей, для будущих поколений?

Туровский говорит о себе, что он реалист. И тут же поясняет, что не признает никаких претензий и даже права на существование всяких невежд от искусства, готовых выдавать за живопись бездарно размытые, грязные пятна на холсте. Но говоря о реализме Михаила Туровского следует сделать поправку — это реализм без живой природы. Все эти охваченные ужасом библейские лица, эти скорченные в муках фигуры, эти самоубийцы, бросающиеся на колючую проволоку и обретающие в смерти свободу, — все они, вынесенные из глубины подсознания художника, если что-то и отражают, то разве лишь его собственный душевный мир, оцепеневший в ужасе перед воспоминанием о прошлом своего народа.

Да он, живописец Катастрофы, живописец смерти и мук — темы, прямо скажем, не самой модной на Мэдисон авеню, но вот уже две тысячи лет сопутствующей истории еврейского народа. Эту тему можно решить с помощью всякого рода образной, метафорической символики, но, по словам художника, это значит придать ей некую декоративность, размыть ее, лишить пронзительности. Он же заставляет нас, публику, смотреть смерти в глаза. Холокост — это никакая не жизнь, никакое не жизнеутверждение, это темный коридор, которому не видно конца, это крик в будущее целого народа. Художник как бы стремится вырваться из рамок условностей искусства и создать на полотне нечто адекватное случившейся трагедии.

В. ПЕТРОВСКИЙ



Мать и дитя



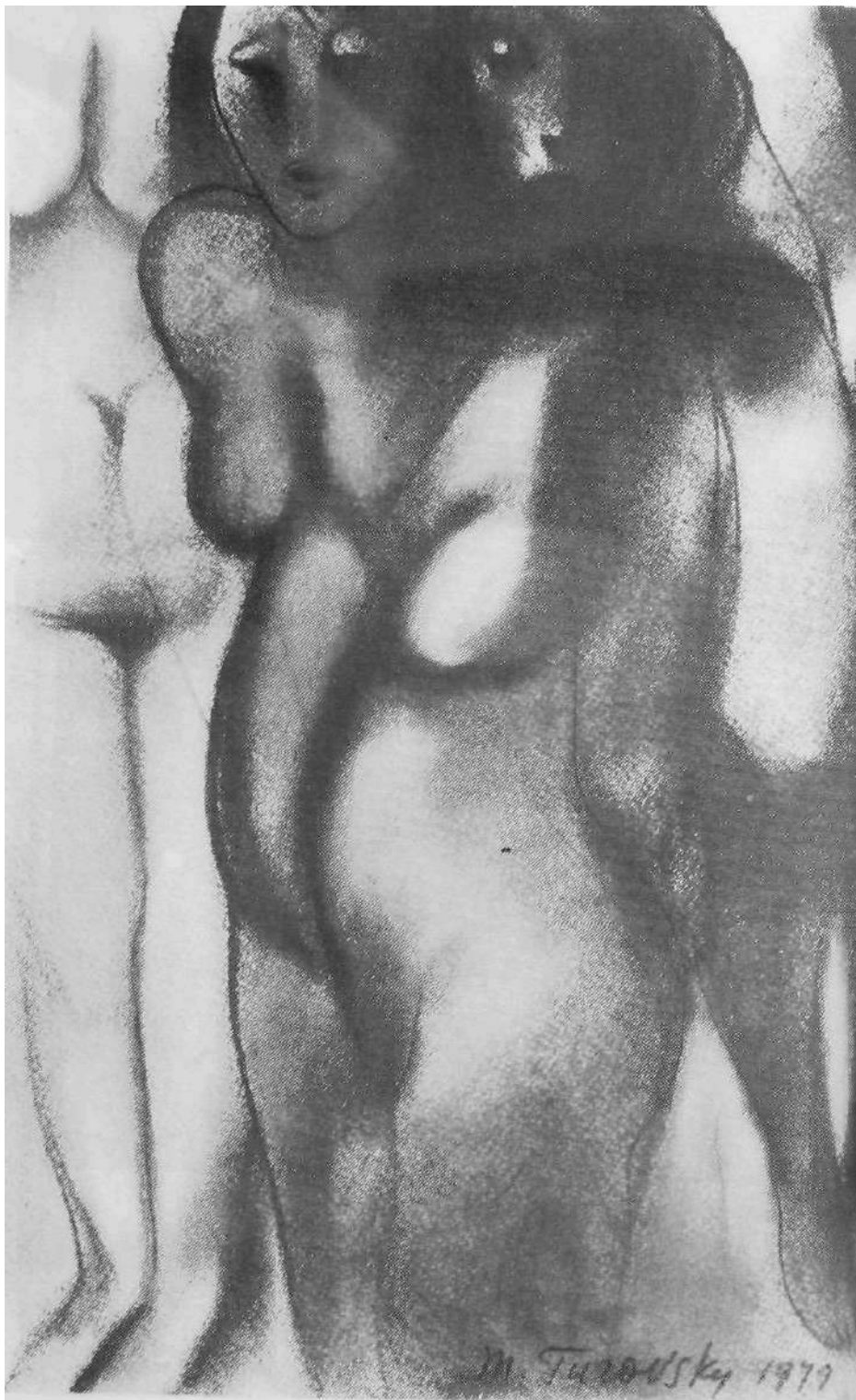
Свободен, уже свободен!



Застенок



Прощание



Женщины



Дед и внук



КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

ЗИНОВИЙ ЗИНИК - родился в 1945 г. в Москве. Изучал живопись, топологию, фехтование и театр. Образование получил в литературном кружке А.Асаркана, П.Улитина и Ю.Айхенвальда.

В 1975 г. эмигрировал. В течение двух лет был режиссером русского театра-студии при Иерусалимском университете. Сейчас живет в Лондоне и зарабатывает на жизнь театральными рецензиями; пишет по-английски для лондонского еженедельника "Time Literary Supplement".

Автор повестей и романов: "Извещение" ("Время и мы", № 8), "Уклонение от повинности" ("Время и мы", № 69), "Русская служба" (вышла отдельной книгой в изд-ве "Синтаксис", 1983), "Ниша в Пантеоне" (1979; французский перевод готовится в изд-ве "Альбен Мишель"). Изд-во "Альбен Мишель" выпустило в свет и переводы романов "Перемещенное лицо" (изд-во "Руссика") и "Русская служба". Журнальный вариант романа "Перемещенное лицо" впервые был опубликован по-русски в журнале "Время и мы", № 23-24. Сокращенный английский перевод романа "Русская служба" передавался по британскому Радио-3 Би-би-си. Эссе "Соц-Арт", "Подтекст" и "Эмиграция как литературный прием" опубликованы в журнале "Синтаксис" (№ 3, 8, 11).

ЛЕВ ДРУСКИН — родился в Ленинграде в 1932 г. Поэт, был членом Союза писателей. Его дарование еще в юности было отмечено С.Маршаком. К первому сборнику стихов Друскина предисловие было написано В.Шкловским. В 1982 г. эмигрировал из СССР. За рубежом вышла его книга воспоминаний.

А.ЩЕДРОВИЦКИЙ — рукопись получена по каналам самиздата.

ПЕТР БОЛДЫРЕВ — окончил философский факультет ЛГУ. Член Американской философской ассоциации (АРА). Принимал участие в ленинградском диссидентском культурном движении за свободу творчества и в самиздате в первой половине 70-х годов. Эмигрировал в 1976 году. Преподает в одной из американских военных школ. Статьи и выступления публиковались в США, Канаде, Европе и Австралии на английском, русском, украинском и белорусском языках.

ВАЛЕРИЙ ГОЛОВСКОЙ — родился в 1938 г. в Москве. По образованию кинокритик. Работал в издательстве "Искусство", в журналах "Искусство кино", "Советский экран" и др. В США с 1981 г. Публикуется в англо- и русскоязычной печати.

СОЛОМОН ЦИРЮЛЬНИКОВ — родился в 1905 г. в Елизаветграде. Учился в Одесском институте народного хозяйства. Был участником молодежного сионистского движения и эмигрировал в Палестину в 1928 г. После второй мировой войны был секретарем Общества дружбы "Израиль—СССР", из которого вышел в 1956 г. в знак протеста против угроз советского правительства в адрес Израиля. Журналист, политический комментатор. Постоянно выступает в израильской прессе.

АРКАДИЙ ШЕВЧЕНКО — родился в 1930 году на Украине. Окончил МГИМО (Московский Государственный Институт Международных отношений) в 1954 г. и позже получил степень кандидата наук. Работал в МИДе с 1956 г. Впервые посетил США в 1953 году вместе с Хрущевым. Был директором отдела Советской миссии при ООН. С 1970 по 1973 г. был личным советником министра иностранных дел Громыко, а с 1973 г. до разрыва с Москвой в 1978 г. — заместителем Генерального секретаря ООН. Шевченко автор многих книг о разоружении, изданных в СССР.

ИСПРАВЛЕНИЕ ОПЕЧАТКИ

В № 80 в главе "Циклоп" из романа Джойса "Улисс" примечание на стр.67 следует читать так:

"Блюм на самом деле не играл на скачках, но все циклопы уверены, что он выиграл массу денег и скрывает это, чтоб никого не угостить. В чем причина недоразумения? Ранее Блюм встретил Бантома Лайонса, который попросил взглянуть на его газету. Блюм говорит, что Лайонс может оставить себе газету — он, Блюм, все равно собирался ее выбросить. Заядлый лошадиный Лайонс понимает слова Блюма как совет поставить на В ы б р о с а — аутсайдера, за которого принимают ставки 20:1. Но первый встречный (Ленеган) переубедил Лайонса, он поставил на Бунчука и проиграл. Первым пришел Выброс. Ленеган запомнил слова Лайонса, и поэтому он уверен, что Блюм выиграл".

ДЖОН БАРРОН "КГБ СЕГОДНЯ"

Большинство наших читателей знакомо с именем Джона Баррона — автора нашумевшей книги "КГБ", переведенной на многие языки мира, в том числе и на русский.

Книга "КГБ сегодня" — новейшее исследование того же автора, рассказывающее о самых зловещих сторонах и тайных пружинах деятельности советской секретной полиции в наши дни.

На примерах подрывной деятельности КГБ в Соединенных Штатах и Японии Джон Баррон рисует широкую картину политического бандитизма, инспирируемого Москвой во всех странах мира.

В книге подробно раскрывается механизм деятельности КГБ. Джон Баррон рассказывает о том,

КАК ДЕЙСТВУЕТ КГБ СЕГОДНЯ И В СССР, И ВОСОБЕННОСТИ ЗА ЕГО ПРЕДЕЛАМИ,

КАК ГОТОВЯТСЯ КАДРЫ БУДУЩИХ РАЗВЕДЧИКОВ И ВЕРБУЕТСЯ АГЕНТУРА НА ЗАПАДЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИЗ СРЕДЫ САМЫХ КРУПНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ,

КАК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ КРАЖА ПЕРЕДОВОЙ ЗАПАДНОЙ ТЕХНОЛОГИИ,

КАК КГБ ВЛИЯЕТ СЕГОДНЯ НА ВНЕШНЮЮ И ВНУТРЕННЮЮ ПОЛИТИКУ ЗАПАДНЫХ ГОСУДАРСТВ И О МНОГОМ ДРУГОМ.

Книга написана в форме захватывающего детектива. В то же время она является важнейшим обличающим документом нашего века.

Объем книги — 432 страницы. Цена — 22 доллара.

Заказы и чеки высылайте по адресу:

Time and We
475 Fifth ave, suite 511-A
New York, New York
10017



В ИЮНЕ 1985 ГОДА ВЫХОДИТ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Аркадий ШЕВЧЕНКО
"РАЗРЫВ С МОСКВОЙ"

Авторизованный перевод

Для русского издания автор предоставил дополнительные материалы, не вошедшие в английское, французское и немецкое издание своей книги.

Объем книги 512 стр. Цена 19 долларов, включая пересылку.

АРКАДИЙ ШЕВЧЕНКО — БЫВШИЙ СОВЕТСКИЙ ДИПЛОМАТ ВЫСШЕГО РАНГА, ПОРВАВШИЙ ОТНОШЕНИЯ С СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ В 1978 ГОДУ.

С 1956 года Шевченко был сотрудником Министерства иностранных дел. В книге ярко обрисована закулисная реальность работы в этом министерстве.

В 1959 году Шевченко сопровождал Хрущева в его поездке в Америку. Описание этой поездки, а также характера Хрущева — принадлежат к одним из лучших страниц книги.

В период с 1970 по 1973 год Шевченко был советником министра иностранных дел А.Громыко. Рассказывая об этом периоде своей жизни, автор подробно анализирует цели советского детанта, отношения с Китаем, вопросы разоружения, работу Политбюро и закулисные отношения между его членами.

С апреля 1973 года Шевченко — заместитель Генерального секретаря ООН. Эта часть книги посвящена рассказу о том, как эксплуатирует СССР своих работников в ООН и таким образом финансирует деятельность КГБ в США. Кроме того, в книге даны портреты многих политических деятелей, созданные автором по личным впечатлениям, — это и Хрущев, и Громыко, и Пономарев, и Андропов, и Горбачев и многие другие.

Читатель, обратившийся к книге Шевченко, получит уникальную возможность узнать, как формируется внешняя политика СССР, от человека, принимавшего в ней непосредственное участие и рассказавшего о ней откровенно и искренне.

Заказы и чеки направляйте на имя издательства:

LIBERTY PUBLISHING HOUSE
475 Fifth ave, suite 511-A. New York, New York, 10017

ЖУРНАЛ "ВРЕМЯ И МЫ" — 1985

УСТАНОВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:

Стоимость годовой подписки в США — 43 доллара; для библиотек — 54 доллара; с целью экономической поддержки журнала — 50 долларов. Заказы и чеки высылать по адресу главной редакции:

Time and We

475 Fifth Ave, suite 511-a. New York, New York 10017

Цена в розничной продаже — 8.50

Стоимость подписки в Израиле устанавливается израильским отделением журнала "Время и мы". Заказы и чеки высылать по адресу отделения: Иерусалим, Талпиот мизрах, 422/6 (зав.отделением Дора Штурман-Тиктина).

Подписка из Франции, Германии и других стран мира может осуществляться как через главную редакцию в Нью-Йорке, так и через представителей журнала.

При подписке в главной редакции чеки высылаются только в американских долларах (т.е. это должны быть чеки американских банков или иностранных банков, имеющих в Нью-Йорке отделения).

При подписке через представителей журнала (или его отделения) стоимость подписки:

— во Франции — 450 франков; для библиотек — 550; с целью экономической поддержки журнала 550 франков;

— в Германии — 150 немецких марок; для библиотек — 180; с целью экономической поддержки журнала — 200 марок.

Подписка авиапочтой — 86 долларов.

ЖУРНАЛ "ВРЕМЯ И МЫ" — 1985

ПОДПИСНОЙ ТАЛОН

Фамилия

Имя

Адрес

Подписной период

Прошу оформить подписку на журнал "Время и мы" на год. Высылать с номера

Журнал высылать обычной /авиа/ почтой по адресу

Подпись

Примечание редакции: чек выписывается по-английски на имя журнала "Время и мы" /Time and We/.

Из Германии, Англии, Франции и других стран чеки могут высылаться либо непосредственно по адресу главной редакции, либо в адрес представителей журнала

Подписка оплачивается в американских долларах чеками американских банков и иностранных банков, имеющих отделения в США, и высылается по адресу "Time and We"

475 FIFTH AVENUE, SUITE 511-A. NEW YORK
NEW YORK 10017. Tel. (212) 684-3014

Отвергнутые рукописи не возвращаются и по их поводу редакция в переписку не вступает.

**MAIN OFFICE:
475 Fifth Ave, suite 511a, New York, N.Y. 10017**

OCR и вычитка — Давид Титиевский, март 2011 г.
Библиотека Александра Белоусенко

**На четвертой странице обложки:
Михаил Туровский. "Крик в будущее".**

Автор портрета Льва Тимофеева — Лев Поляков.



M. Turovsky 19